

Трапори Рубинков

Земляки



Тригорий
Рабинков
Земляки

Рассказы



с еврейского



Мысль о великом назначении человека на земле проходит через все произведения, включенные в книгу еврейского советского писателя Григория Рабинкова «Земляки». Характерные черты его творчества — внимание к внутреннему миру советского человека, к его поведению в сложных, критических ситуациях, интерес к людям беспокойным, не боящимся трудностей.

Долгие годы писатель работал учителем. Это нашло отражение в тематике многих его рассказов, которые посвящены взаимоотношениям детей и взрослых, воспитанию гражданственности, патриотизма и интернационализма. С большой теплотой Г. Рабинков показал самоотверженный труд молодых педагогов, работающих на Дальнем Востоке.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1977 г.



1

авриэль Иошпе в субботу утром вышел в сад, чтобы с круглого газона срезать несколько больших чайных роз для дочери Инны. С Новосибирским оперным театром она приехала на гастроли в Хабаровск и вот теперь на два дня отлучилась домой, к отцу, в Биробиджан.

По улице только что прогнали коров из поселка в поле, в воздухе стоял густой столб пыли. Утреннюю тишину нарушил стук топора в соседнем дворе — в поселке рабочий день начинается рано.

— Доброе утро, Гавриэль Романович!

Гавриэль был так поглощен цветами, что не заметил возле забора Жанну.

— Для кого вы так стараетесь с утра пораньше? — спросила она и, не дождавшись ответа, восхищенно сказала: — Прелесть! Чудо!

Да, это был новейший сорт розы, выращенный Гавриэлем в собственном саду, за него он даже получил почетный диплом на городской выставке.

Гавриэль выпрямился и с букетом в руке повернулся к Жанне:

— Для такой же молодой женщины, как и ты.

— Для певички! — улыбнулась Жанна. — Нашему брату, работнику милиции, таких цветов не дарят...

— Каждому свое, — развел руками Гавриэль. — Что и говорить, твоя дорога, Жанна, не усыпана цветами. Я тебе сочувствую... Но жди... От имени всех жителей,

чей покой наша милиция бережет! — Он срезал большую темно-красную розу со сверкающими росинками на прохладных твердых листьях и галантно подал Жанне через забор.

Девушка взяла цветок, поднесла к губам, к длинным своим ресницам.

— Красавица!

У Жанны чуть продолговатое загорелое лицо, она выше среднего роста. Китель с погонами старшего лейтенанта милиции, белый воротничок и черный мужской галстук придают ее фигуре стройную элегантность. Глаза у нее удлинённые, карие, спокойные, но иной раз так взглянет — кажется, будто видит насквозь.

— Жанна, — сказал Гавриэль, — у меня сегодня праздник. Инна приехала. Тебе, я думаю, не требуется особенного приглашения. Захвати с собой всех своих — и к нам...

— Спасибо! Обязательно, Гавриэль Романович. Ну, а теперь постарайтесь вспомнить: что за день сегодня?

— Что за день? — переспросил Гавриэль. — Суббота.

— И только?

— Да.

— Эх, вы, первопроходец! — Жанна озорно высунула кончик языка. — Сегодня ровно сорок лет, как вы, Гавриэль Иошпе, мой отец Нисн Лапидус и другие из вашего первого, «исторического» эшелона переселенцев приехали сюда и начали ставить здесь свои домишки. В областном музее уже стоит специальный стенд «Зачинатели».

Гавриэль, прикрыв глаза, слушал Жанну. Возможно, он видел мысленно перед собой пустынный, окруженный болотами клочок земли с редкими ветхими хибарками коренных жителей.

— Это счастье, Жанна, — улыбнулся он, — что у нас здесь есть ты, живой календарь!

Жанна знала все или почти все, что имело отношение к истории их поселка Новый, с которого начинается город

с западной стороны. Собирать об этом материалы, живые свидетельства старых переселенцев, — это, как говорится, ее хобби.

Во дворе у Гавриэля затарахтел мотоцикл. Это Элик собрался куда-то уезжать. Он уже заметил Жанну. Глаза его радостно блестят.

— Жанна, тебе не нужно в город? — спросил он.

Элик очень похож на отца — он высок, плотен, щеки, правда, немного впалые, и темно-серые глаза всегда как бы обращены в ту сторону, где идет строительство семиэтажного крупноблочного дома. С недавних пор он отпустил короткую черную бородку, — видимо, уверен, что она придает ему солидность. Дедушка его, девяностодвухлетний Гдалье, каждое утро бреющийся электробритвой внука, пристаёт к Элику:

— Может, побреешься, Эля? Ты же похож на козла!

Сейчас Элик немного смущен. Жанна так и не ответила, нужно ей в город или нет. Поэтому он переспросил ее еще раз, но немного глуше:

— Тебе в город не нужно, Жанна?

— Нужно, — ответила она.

Спустя минуту мотоцикл с Эликом и Жанной уже несся с ревом по улице, оставляя за собой столб пыли.

Гавриэль постоял еще немного возле забора. Он вдруг мысленно представил себе жену свою Рысю, умершую два года назад, — она, бывало, в шутку называла Гуту, мать Жанны, сватьей.

«Элик, кажется, влюблен, — подумал он, — ну, а она, Жанна?»

2

Срезанные розы Гавриэль окунул в вазу с холодной водой и оставил на веранде. Инна еще спала. В город он сегодня не собирался, дома сейчас тоже не было работы. Не спеша он направился по единственной широкой улице поселка туда, где Элик строит многоэтажный дом.

В последнее время там стали собираться поселковые пенсионеры.

И сейчас Иошпе застал здесь нескольких старожилов. Почти все они были «зачинателями», приехавшими именно с тем первым эшелонном переселенцев.

— С праздничком! — обратился к ним Гавриэль. — Вы знаете, что сегодня следует нас поздравить? Мы с вами именинники!

— А что за праздник? — спросил кто-то.

И когда узнали, о каком празднике идет речь, удивились:

— Ай-яй-яй! Уже сорок лет, говоришь, Гавриэль?

— Да, летят годы...

Между тем подходили другие старожилы, кружок растался. Люди эти привыкли всю жизнь много работать — и на предприятии, и у себя дома. Они никак не могли свыкнуться со своим новым положением, когда с утра нужно искать, к чему бы приложить руки. Теперь вместе с Гавриэлем они направились назад в поселок тихими, спокойными переулками, пока снова не оказались на одной-единственной широкой, уже по-городскому асфальтированной улице.

В это раннее летнее утро все здесь приятно ласкало глаз и было особенно близко и дорого: домишки из кедра, затененные деревьями, улочки, насыщенные запахом садов, огороды, пасеки и даже покосившиеся хижины. Хозяйки старались придать своим домишкам более нарядный вид и потому часто белили рамы низеньких оконцев.

У иных домишек пенсионеры останавливались, припоминали, как строились первые эти жилища, положившие сорок лет назад начало новому поселку, вспоминали тех людей, которых нынче уже нет, и затем говорили о том, какие дома еще со временем здесь будут построены. Жанна недавно пригласила из города архитектора, который прочитал жителям поселка лекцию о генеральном плане развития города.

Николай Евстигнеевич Собибенко — единственный коренной житель поселка. Невысокий, худощавый, с широкими скулами, он смахивает на нанайца.

— Меня отсюда вытеснит новое здание районной библиотеки, — говорит он.

— А нас...

— Будет что-то особенное! — Исай Шпарага повертел в воздухе своей «прогулочной» палочкой, без которой никогда не показывается на улице.

— Да, теснит город, теснит...

Отношение к тому, что город теснит поселок (сейчас в официальных бумагах поселок уже называется «микрорайон номер 12»), у этих людей довольно различное. Солидные, «основательные» хозяева, у которых добротные дома, хорошие огороды, — в поселке их называют «консерваторами», — утверждают, что невелико, дескать, счастье, если на поселок надвигается город. Другие, те, которых называют «экстремистами», напротив, заявляют, что они тоже хотят жить в городской квартире с ванной, газом, горячей водой и прочим...

— А ты что скажешь, Гавриэль?

Люди в поселке уже привыкли всегда прислушиваться к тому, что скажет Гавриэль.

Высокий, еще довольно крепкий для своих шестидесяти с лишним лет, Гавриэль Июшпе с годами не утратил военной выправки. У него неторопливые движения человека, всегда хорошо знающего, что ему нужно делать.

Приехав сюда с первым эшелонном переселенцев, он, комсомолец из полурусско-полуукраинского местечка Середина Буда, был среди тех, кто валил деревья в тайге и сплавлял их по неширокой, но бурной горной реке. Затем он был среди тех, кто строил первые двухэтажные деревянные дома и кто с помощью небольшой, маломощной электростанции зажег свет в окнах новых жилищ. С детства его тянуло к разным железякам, и вот он в числе первых, кто пришел на новый обозный завод. А на пен-

сию его, уважаемого рабочего, токаря Гавриэля Иошпе, проводили уже с Дальсельмаша — одного из крупнейших заводов на Дальнем Востоке.

Все свое свободное время Гавриэль посвятил выращиванию деревьев и цветов. Большинство жителей не помнят уже, а может быть, и не знают вовсе, что в красивых густых аллеях на широких, застроенных высокими домами улицах, в нарядных цветочных газонах на просторной площади перед зданием облисполкома, в густой зелени других скверов и площадей — во всем этом есть и его, Гавриэля Иошпе, большая доля.

Немало старожилов, у которых теперь свои сады с «лукашовками», с твердой дальневосточной сливой, малиной, смородиной, могут припомнить, как много лет назад Гавриэль Иошпе приставал к ним: «Послушай, что тебе говорят, возьми деревце, возьми несколько саженцев! Разбей сад!» А те — ни в какую: «Отстань, пожалуйста! Здесь так же может вырасти сад, как на твоей макушке!»

А Гавриэль то к одному соседу заглянет, то к другому. И всегда при нем были саженцы, он приносил их из города на спине.

— Смотри, Касрилик, как я делаю, и делай так же. Через год-другой и у тебя будет сад!

Возле этого дома теперь шумит сад. Между стволов старых, с развесистой кроной, деревьев пробивается молодая поросль.

Тут и сливы, и груша «лукашовка» с золотистыми боками.

Старожилы почтительно спрашивают:

— Так что же ты скажешь, Гавриэль?

3

Гавриэль не успел ответить старожилам. Неожиданно подкатил зеленый «Москвич», очевидно, из города. Из машины вышел молодой долговязый хирург Константи-

новский. Он открыл дверцу с другой стороны, пропуская грузноватого пожилого мужчину среднего роста, в очках с толстыми стеклами. В руке тот держал коричневый портфель. Хирург почтительно с ним простился, сел в машину и уехал.

Все с любопытством смотрели на незнакомца. Гавриэль вдруг воскликнул радостно и удивленно:

— Роман? Ты?

— Постойте-ка, — тихо сказал стоявший рядом Собибенко, — это, если я не ошибаюсь, «профессор Гавриэль».

Собибенко по протекции Иошпе лежал три недели в хабаровской клинике, у известного врача профессора Лаврова. Он сейчас с трудом узнал профессора — там, в больнице, он видел его всегда в белом халате и белой шапочке, в окружении студентов и ординаторов.

— Эге! — произнес Лавров, близорукими глазами всматриваясь в Собибенко. — Кажется, мой пациент!

И, окинув взглядом остальных, добавил:

— И вот этот дядя тоже. Как живешь, старина?

— Глаз пограничника, — сказал Гавриэль, обнимая Лаврова. — Роман, сегодня сам бог тебя к нам прислал. Инна на два дня ко мне приехала. Это надо отметить. И вы, друзья гвардейцы, — обратился он к старожилам, — не заставляйте себя долго упрашивать. Прошу вечером ко мне! Роман Иванович, — кивнул он в сторону профессора, — тоже ведь старый биробиджанец. А сегодня как-никак дата — сорок лет.

Исай Шпарага с «прогулочной» палочкой под мышкой ответил за всех:

— От рюмки водки да куска пирога грех отказываться.

— Город растет, хорошеет, — говорил Лавров, шагая рядом с Гавриэлем к дому друга. — Сорок лет, говоришь, а? Так когда я в первый раз сюда приехал?

— Я тебе скажу точно: в тридцать четвертом.

Роман Лавров, выходец из старинного русского города Галича, служил вместе с Гавриэлем на одной из пограничных застав на Амуре. Там они подружились, и дружба эта продолжается и по сей день. У Романа не было родных, он воспитывался в детском доме. Вместе с Гавриэлем приезжал он «на побывку» на окраину Биробиджана, которая еще только застраивалась. Он тоже помогал строить. Немало бревен в стенах этих домов уложено его руками.

После окончания службы пути их разминулись. Роман еще до службы в армии окончил фельдшерскую школу в Костроме, он мечтал стать врачом. И когда в Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке медицинский институт, он поступил на лечебный факультет. Все студенческие каникулы Роман проводил у Гавриэля. Тот уже женился и к отцовскому дому сделал довольно обширную пристройку. Желая скопить немного денег на зиму, Роман в летние месяцы работал в заводском медпункте, по ночам дежурил в «скорой помощи».

Оба они были заядлыми рыбаками и охотниками, субботними вечерами уходили в тайгу, которая в те времена подступала близко к городу, возвращались в воскресенье в полночь, уставшие, но веселые, в испачканных липкой грязью резиновых сапогах. Рюкзаки были доверху наполнены дичью и рыбой.

Зимой Роман иногда приезжал к Гавриэлю накануне выходного на «товарняке». В семье Иошпе его принимали как родного сына. При прощании мать Гавриэля всовывала ему кошелку с продуктами. И какой поддержкой на целую неделю были для него эти продукты в те голодные студенческие годы!

Со временем Роман зачастил сюда, в город, но это уже другая, отдельная история.

Впервые он увидел Хаюсю Шафран в вагоне поезда, возвращаясь воскресным вечером в Хабаровск. Девушка сидела напротив него, у окна, и при тусклом свете лам-

почки перелистывала новый роман Ильи Эренбурга «День второй», очень популярный в то время среди молодежи. В общем вагоне ехала веселая, шумная компания ребят из какой-то профтехшколы. Ребята возвращались с экскурсии домой, в Комсомольск-на-Амуре. Песни, шутки, смех не смолкали ни на минуту.

Роману запомнилось бледное лицо девушки и блестящие черные, гладко зачесанные волосы с розоватым, как у ребенка, пробором посередине. На ней была рубашка цвета хаки с белым воротничком, какую носили тогда многие комсомольцы, черная юбка и черные туфли на низком каблуке. Особенно Роману запомнились ее большие черные печальные глаза, и он почему-то с щемящей болью в сердце подумал тогда: люди с таким выражением глаз редко бывают счастливыми. . .

Поезд подъезжал к Хабаровску. Девушка сняла с вешалки черную жакетку и направилась к выходу. Шумный, горланящий поток учащихся из профтехшколы подхватил и выплеснул его, Романа, из вагона. Когда он вышел на перрон, девушки уже и след простыл, исчезла в толпе.

И так уж вышло, что, поехав в другой раз из Хабаровска на воскресенье в Биробиджан, он снова встретил ее в вагоне и на этот раз сам сел напротив нее у окна. Она взглянула на него своими черными печальными глазами и, видимо узнав, улыбнулась. И так у него хорошо было на душе, что он не заметил, как пролетели четыре часа.

Поезд подошел к Биробиджану. Автобусов, а тем более такси в городе тогда еще не было, и немалое расстояние от вокзала до поселка Новый приходилось идти пешком.

Шагая с девушкой по узким деревянным, местами прогнившим тротуарам и отыскивая во тьме сухие островки, молодой медик узнал, что ее зовут Хаюся Шафран (он сразу мысленно переименовал это имя на русский лад — «Хаюша»), год назад она окончила Черниговский тек-

стильный институт и работает сейчас технологом на местной, только что открывшейся фабрике, едет сейчас с краевого совещания работников легкой промышленности. И еще он узнал, что она живет в фабричном общежитии.

То была счастливая весна в его жизни. Он выезжал в субботу пятичасовым поездом «Владивосток — Москва» и субботний вечер до полночи и все воскресенье не расставался с Хаюсей, бродил с ней по поселку, не замечая даже, что из-за оконных занавесок следят за ними любопытные женские глаза.

В начале июня Хаюся, получив свой первый отпуск, уехала домой, в Чернигов. Обрато она уже не вернулась. Началась война, и Роман так же, как и Гавриэль, в первые дни ушел на фронт.

Гавриэль знал: много лет, год за годом, Роман искал Хаюсю.

Доктор медицинских наук профессор Роман Иванович Лавров порой и сейчас навещается сюда из Хабаровска. Он дает консультации в областной больнице (в последние годы, правда, реже, — присылает вместо себя из своей клиники врачей помоложе); закончив консультацию в больнице, он приходит к Гавриэлю и проводит вместе с ним оставшиеся до отхода поезда часы.

4

Двадцатисемилетний Элик Иошпе уже успел отслужить во флоте и окончить стройфак Хабаровского политехнического института. При распределении на работу ему предложили на выбор Солнечное, Совгавань и Биробиджан. Он выбрал свой родной город. Там еще предстояло столько построить! Биробиджанстрой, где он сейчас работает, ему, как молодому специалисту и пока еще не женатому, сравнительно быстро выделил в городе в новом доме, на пятом этаже, однокомнатную квартиру. Прожив не один год в студенческих общежитиях, Элик

был сейчас очень рад своему новому жилью. Однако в последнее время он нередко оставался ночевать в поселке, у отца. Возможно, потому, что отсюда до работы ему рукой было подать.

В прошлом году он приехал из Хабаровска с направлением на работу в Биробиджанстрой. Еще на вокзальной площади, возле автобусной остановки, встретил отца Жанны, соседа Нисна Лapidуса.

— Ну, — Нисн разом охватил Элика взглядом от курчавой головы до узконосых ботинок, — уже все? Уже инженер?

— Пока только диплом инженера, — ответил Элик.

И именно от него, этого рослого Нисна Лapidуса с его обветренным лицом и глубоким шрамом на щеке (след от осколка), он узнал, что Жанна отправилась на теплоходе «Дунай» в туристическое путешествие вокруг Балканских стран. При этом он, хитровато прищурив глаз, намекнул Элику, что если бы не он, отец, «простой рабочий» завода силовых трансформаторов, Жанна, несмотря на ее высшее образование и должность инспектора-криминалиста, не могла бы позволить себе такое путешествие.

Элик старше Жанны на три-четыре года. Хотя оба и провели детство и юность в близком соседстве, но почти никогда не общались. В мальчишеские годы Элику не было никакого дела до длинноногой девчонки из соседнего двора, с которой дружила сестра его Инна. Позже, окончив школу, он ушел служить во флот, а Жанна поехала в Москву — учиться в Высшей школе МВД. После службы Элик поступил в Хабаровский политехнический институт, поэтому Жанну видел за все это время лишь несколько раз.

В тот день Элик поздно задержался на работе и пришел в поселок к отцу переночевать. Он постелил себе на веранде — там он всегда спал летом. Окна были распахнуты, прохладный ночной ветерок изгонял залетевших комаров. Спал он крепко, — так спится только в моло-

дости под родительским кровом. А когда проснулся, за окном сияло теплое летнее утро, голубоватые тени вокруг деревьев предвещали ясный, погожий день. Элик натянул старые шаровары, которые отыскал где-то в чулане, и устремился к колодцу, чтобы облиться холодной водой.

На листе еще не просохла роса. Ульи, точно вылепленные из черного воска, распространяли ароматный запах меда, и к нему примешивались запахи сада.

В соседнем дворе по ту сторону плетня Элик заметил Жанну. Значит, уже вернулась из путешествия. Гибкая, стройная, в черных, туго обтягивающих длинные ноги брюках, в красной вязаной кофточке, она стояла на табурете и, что-то напевая, вытирала стекла окон.

Элик видел, как спустя некоторое время она направилась к автобусной остановке. Он вспомнил, что ему сегодня нужно быть в тресте. Не мешкая надел белую рубашку и тоже заспешил к автобусу.

«Придется подойти к ней, — подумал он. — Но как сказать ей — «ты» или «вы»?»

Однако она подошла к нему первая и очень просто, по-дружески, обратилась к нему на «ты».

— Элик! — Ее удлиненные, чуть раскосые глаза радостно засияли. — Вернулся к «трем родимым березкам»!

В прозрачной утренней синеве проступали вдаль расплывчатые контуры города, а совсем рядом, по ту сторону огражденного участка, словно раскланиваясь с городом, устремились ввысь стены будущего и пока что единственного многоэтажного здания в поселке.

В городе Элик шел вместе с Жанной от рынка до здания областного отделения милиции, где работала Жанна. Направляясь в трест, он все еще мысленно видел перед собой ее удаляющуюся фигуру, в ушах все еще звучал твердый и уверенный стук каблуков по асфальту, уносивших ее в тот мир, с которым Элику никогда не приходилось сталкиваться.

А потом Жанна вдруг исчезла на целых десять дней.

Поехала, как говорили, в один из районов области, а куда — не знала толком даже ее мать. Элик слышал однажды, как Гута говорила Гавриэлю, отцу его, что она очень боится за дочь.

— Посудите сами, — говорила она, — разве девушке пристало работать в уголовном розыске?

Гавриэль утешал Гуту:

— Не печальтесь, Гута, такие девушки, как ваша Жанна, при случае умеют дать сдачи!

Оказывается, Жанна совершала такие поездки довольно часто. Элик поймал себя на том, что с каждым днем все больше думает о ней. Зная, что Жанна сейчас нет ни в поселке, ни в городе, он бесцельно слонялся по улице, бродил возле ее дома и более охотно, чем прежде, выслушивал отца ее, Нисна Лапидуса, который постоянно возился у себя во дворе то с бревнами, то с досками. Позднее, чем обычно, задерживался теперь на стройке. Уже работала при свете прожекторов вторая смена, а он все еще не уходил домой.

Прораб с его объекта Зильбовский, мужчина лет сорока с лишним, известный в городе своими донжуанскими похождениями, остановил как-то Элика возле крана.

— Что я тебе хотел сказать, Илья... Есть, кажется, там у вас в поселке девушка одна — Жанна Лапидус. Да, кстати, она, если не ошибаюсь, твоя соседка. Ну, та, возле которой вертится хирург...

— Какой хирург?

Зильбовский взглянул на него с иронией и удивлением, хотел, видно, еще что-то сказать, но как раз в это время в ворота въезжала машина с бетонными плитами — их давно уже ждали. И он, махнув рукой, заспешил туда.

«Хирург, хирург?» — напряженно думал Элик.

После разговора с прорабом он спустя несколько дней встретил Жанну с высоким русоволосым парнем в элегантном светло-сером костюме. Это был молодой хирург Ва-

лерий Константиновский, недавно окончивший ординатуру в клинике у Лаврова. Когда Жанна их знакомила, Элику почему-то казалось, что этот смазливый парень с темно-синими навывкате глазами и чересчур уверенными жестами смотрит на него как бы свысока. . .

По вечерам, возвращаясь со стройки, Элик нередко видел у ворот Лапидусов зеленый «Москвич» хирурга, а из распахнутых окон доносились звуки фортепьяно. Это, очевидно, в четыре руки играли Жанна и Константиновский, оба большие любители музыки. Элик вспомнил, как когда-то сестра его Инна и Жанна, тогда еще маленькие девочки, с большими черными папками в руках ездили в город, в детскую музыкальную школу. Его, Элика, тоже отдали учиться в ту же школу, на отделение скрипки, но особой склонности к музыке он никогда не проявлял.

Он все чаще оставался теперь в поселке ночевать. После работы, вымывшись и переодевшись, шагал к автобусной остановке или бродил по улице, надеясь встретить Жанну. Его желание сбывалось далеко не всегда: Жанна часто ездила в командировки, иногда просто задерживалась допоздна в городе. Элик считал такой вечер пропавшим. Но иногда случалось иначе. Она выходила из автобуса со связкой книг в руке.

— Элик! Собираешься в город, домой?

Что он мог ей ответить? Что желал лишь одного — встретить ее? Он провожал Жанну до их улицы, затем они делали круг и выходили уже с другой стороны слабо освещенного вечернего поселка. По дороге припоминали разные давно забытые истории, имевшие место в поселке или в городе, говорили о друзьях и знакомых, которых у обоих было немало. У Элика почему-то сильно щемило сердце, когда Жанна направлялась к своему дому с освещенной верандой. Они долго стояли возле низкого плетня.

Жанна знала, что в ближайшее время в поселке начнут сносить старые дома.

— И наши тоже снесут, Элик?

— Конечно.

— Жаль, мы здесь выросли.

— А ты что же, собиралась прожить здесь всю жизнь?

— Я говорю о соседях: столько лет прожить бок о бок, а потом разъехаться, жить где-то в разных концах города...

— Во-первых, не все поедут в город. В поселке мы вот-вот начнем строить дом на восемьдесят четыре квартиры. Во-вторых, сносить дома будут еще не скоро. Но, конечно, придет и их черед.

— Что же будет твой дедушка делать без пчел? — спросила Жанна.

— А что будет делать отец твой без бревен и досок? Оба тихо рассмеялись.

Оставшись один, Элик думал с досадой: совсем не о том он говорил с ней! Не о том! Он вспомнил, как они стояли возле ее дома и Жанна толкнула калитку носком туфли. Тогда он взял ее маленькую озябшую ладонь в свою горячую руку. Она не отняла руки, только внимательно посмотрела ему в глаза. Элик видел, как в глубине темных зрачков девушки, освещенных светом с веранды, промелькнула едва заметная улыбка, не то лукавая, не то насмешливая.

Ну, понятно, она не семнадцатилетняя девчонка. Он отпустил ее руку. Черт побери! Бывший старшина первой статьи, служивший на эсминце! И вовсе не тихоня — девушки, работавшие в порту, бегали за ним. А с Жанной ведет себя точно неопытный юнец, или, как говорят, салага. словно он еще ни разу не встречался с девушкой...

Он попытался сопоставить свои шансы с шансами хирурга и пришел к неутешительному выводу: он проигрывает, проигрывает бесспорно. Константиновский — человек в городе заметный, с именем, с положением. Профессор Лавров сказал больным в местной больнице: им неза-

чем ехать в Хабаровск, если здесь имеется такой хирург, как Константиновский... А он, Элик? Кто он? Рядовой инженер, не больше!..

Совсем недавно, выйдя вечером из прорабской, он увидел зеленый «Москвич» хирурга. На миг в окне кабины промелькнул тонко очерченный профиль Жанны. И вдруг им овладела острая тоска — хоть беги вслед за машиной. А она уже исчезла из виду, словно сон.

По дороге домой его остановил Исай Шпарага. Хитровато и вместе с тем как бы сочувствующе посмотрел на Элика.

— Смотри, Элик, дай бог, чтобы я ошибался...

Говорил он как-то странно, полупонамеками, точно вкладывал в слова какой-то особый смысл. И под конец, многозначительно мигнув, проронил:

— Жанна со своим хирургом укатила на концерт в город...

Элик смотрел на него с удивлением. Ну да, ему и в голову раньше не приходило — ведь в поселке все хорошо знают, что у кого болит, местные кумушки уже давно судачили о нем с Жанной. Он отчетливо представил себе, как они при этом облизывали губы и закатывали глаза...

Приняв какое-то важное для себя решение, он с ходу остановил грузовик, в котором был знакомый шофер, и мигом забрался в кабину.

— Шурик, во Дворец культуры. На всех парах!

Приехал он к самому началу. Билеты в кассе еще были, правда, лишь на дальние места. Он вошел в зал, отыскал свое место и тут же стал оглядывать публику, перебегая взглядом с одного лица на другое. Жанну и хирурга он не видел. Из-за кулис вышла молодая хрупкая женщина с подведенными глазами — директриса

Дворца — и объявила, что будет выступать известный немецкий пианист, назвала фамилию. На сцене появился высокий, плечистый мужчина во фраке, коротко стриженный, с наивными светлыми глазами на круглом лице. Он сел за фортепьяно, попробовал устойчивость винтового стульчика, затем на три четверти повернулся к залу и, потирая руки, словно они озябли, пытливо стал всматриваться в первые ряды зрителей, как бы желая установить, что за публика перед ним.

В перерыве Элик вышел в просторное круглое фойе с белыми колоннами. Ох уж эти колонны! Каждый раз, когда он их видел, проклинал и архитектора, и строителей.

Ему сейчас хотелось побыть одному. Но, как назло, его заметила знакомая девушка-инженер, он учился с ней на одном курсе. Она оставила свою компанию и направилась к нему. Элик рассеянно выслушал ее мнение о пианисте. Девушка сообщила ему, что хочет пойти работать туда же, где работает и он, Элик. В Целинстрое, сказала она, ей приходится почти постоянно выезжать в район, в совхозы.

Хирурга и Жанну он по-прежнему в зале не видел. Он поднялся на верхнюю галерею, посмотрел на гуляющую внизу публику и опять спустился в зал.

После концерта он в числе первых покинул зал и остановился у портала, возле одной из колонн. Его одолевало какое-то мальчишески упорное, настойчивое желание непременно увидеть Жанну и хирурга. Людей выходило много, и он терпеливо ждал. Наконец он увидел их. До Элика донесся уверенный баритон хирурга:

— Техника удивительная, а форма холодная, сугубо рационалистическая...

Жанна заметила Элика.

— Ты здесь? — удивленно спросила она. — Почему же мы тебя не видели?

— Я немного опоздал...

Направляясь в город, Жанна и Элик по пути свернули на строительный участок, где, заканчивая квартал, бригады работали также и по субботам. Элик заспешил к машинам — выгружали блочные стены с дверными и оконными рамами. Жанна, увидев знакомого столяра, комсомольца из их поселка, тут же предложила ему смастерить несколько стендов для агитплощадки.

— Вы же шефы! — убеждала она его.

Парень замялся, ему, видимо, не хотелось браться после смены за эту работу. Но он не мог отказать Жанне. На листке ватмана, лежавшем на необструганном столе в прорабской, Жанна сделала несколько набросков. Элик почему-то задерживался. Жанна подошла к маленькому оконцу и увидела Гавриэля и Лаврова. Появился Элик и тоже прильнул к оконцу.

— Нынче, — сказал он, — у пенсионеров был самый настоящий симпозиум, с участием профессора...

Жанна рассмеялась.

— По внешнему виду трудно определить, кто из них двоих профессор.

— Жанна, — сказал Элик, — мой старик собирается сегодня закатить пирушку, во-первых, в честь моей сестрицы, во-вторых, нужно же отметить юбилей — сорокалетие поселка. Ты должна непременно быть. Почему ты улыбаешься?

— Так я же им сама напомнила сегодня об этом...

6

Вечером все окна большого дома Гавриэля светились ярко, празднично. В боковой комнатухе у шкафа с зеркалом прихорашивалась немолодая уже женщина — дальняя родственница жены Гавриэля. Три года назад она уехала погостить к замужней дочери в Москву и

больше не вернулась, там вышла замуж за пенсионера. Теперь она приехала, чтобы продать свой дом и заодно повидаться с родственниками.

— Элик, зачем ты торчишь здесь, на периферии, как твой отец! — убеждала она молодого Йошпе. — Приезжай ко мне в Москву. Я тебя женю так, что будешь иметь и квартиру, и «Волгу», и дачу!

— Ну, а девушка, тетя Ципа, девушка-то хоть будет в придачу? — смеясь, спрашивал Элик.

В самой большой комнате во главе накрытого стола сидели Лавров и девятидвухлетний Гдалье, отец Гавриэля, сгорбленный старик в старомодном черном суконном костюме. Из-под незастегнутого пиджака виднелась жилетка. Воротничок белой накрахмаленной рубашки был заметно велик для его темной морщинистой шеи. Один глаз у него немного косил, и это придавало его птичьему бритому лицу такое выражение, будто он вот-вот выкинет какой-нибудь номер.

— Роман, а Роман, — приставал он к профессору, — говорят, что от рака лучшее средство бутылка таежного пива, это правда? . .

И он рассказывал (уже в который раз) о том, что прежние профессора были совсем иные, не такие, как теперешние. Вот, например, помещик Косинский, у которого он, Гдалье, когда-то служил винокуром, был в Петербурге профессором. Так вот, бывало, уходил он из дому в шляпе, а возвращался без нее — такой рассеянный! Зато какие высокие мысли были у него в голове!

Гдалье говорит по-русски так, как говорят люди, жившие в глубине России. Он отчетливо произносит «р» и «ша». До революции он работал на винокуренных заводах в деревнях, где евреям жить было запрещено.

Гдалье, что называется, человек с биографией: вместе со старшим сыном Гавриэлем он был среди «ходовков», которые нашли клочок сухой земли в западной части поселка Тихонькая и поставили свои первые домишки. Вме-

сте с Гавриэлем, всем на удивление, разбил сад, да такой, что через несколько лет на него, как на чудо, приезжал посмотреть из Хабаровска известный дальневосточный садовод Лукашов.

Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, Гдалье тогда пошел работать в стройконтору плотником — то была одна из самых дефицитных профессий в молодом городе, где дома строили поначалу только деревянные.

Незадолго до войны поехал Гдалье к себе в местечко с женой, она очень соскучилась по родным местам, по родственникам. Там их и застала война. Мать Гавриэля, как и все ее родственники, погибла в гетто, а Гдалье был из тех немногих, кого знакомые колхозники из деревни Ситное с большим риском переправили в Гутский лес, а оттуда к партизанам Ковпака.

И по сегодняшний день хранятся в одном из ящиков комода несколько фотографий, которыми очень гордились Инна и Элик, будучи пионерами. На одной из фотографий — группа партизан, среди них Гдалье, все бородатые, в ватниках, с автоматами. На другой — Ковпак с партизанами на фоне зеленых склонов Карпатских гор.

Гдалье ест сейчас совсем мало, но за обедом по старой привычке не откажется от рюмки «Столичной». Выпив, преувеличенно морщится:

— И от этого-то люди пьянеют?

Зимние вечера он просиживает у телевизора, все запоминает и имеет обо всем свое собственное непоколебимое мнение. Летом с утра до вечера с марлевой сеткой и коротким веничком возится в саду, возле своих пчел.

С недавних пор к своим годам он прибавляет еще десяток, и потому, выходит, ему не девяносто два года, как обозначено в паспорте, а сто два... Перед друзьями Элика любит разыгрывать из себя легендарную личность. Выдает себя за николаевского солдата:

— Мы, старые кантонисты... Николка Первый, да сгинет его имя...

Ему говорят:

— Реб Гдалье, не согласуется!

Гдалье, уставив на скептика свои немигающие зрачки, спрашивает:

— Что не согласуется? Николка Первый был?

— Был.

— Кантонисты тоже были?

— Также были.

— Что же тут не согласуется?

— Да, но то, что вы, реб Гдалье, были николаевским солдатом, это немного гиперболично.

Гдалье посмеивается:

— К чему такое интеллигентное слово, как «гиперболично»? Ты хочешь сказать, что это брехня? Это в самом деле брехня, хе-хе...

Гдалье забывает, что эта шутка его уже всем известна. Исай Шпарага начинает подшучивать.

— Так вы говорите, реб Гдалье, — его смеющиеся глаза перебегают с одного лица на другое, как бы приглашая повеселиться всех сидящих за столом, — вы говорите, что собственными глазами видели графа Льва Николаевича Толстого?

— Вот как тебя вижу.

— Где же вы его, реб Гдалье, видели? Наверно, в Ясной Поляне?

— Нет.

— Где же, реб Гдалье?

— Где? У Элика на этажерке.

Старик приходит в восторг от своей собственной остроты:

— Купил, а? Демагог!

В комнату входят Гавриэль и Инна. Гавриэль в черном костюме и белой нейлоновой рубашке. Инна заставила его надеть и черную «артистическую» бабочку.

Перед тем, как выйти к гостям, Инна, окинув взглядом его высокую, ладную фигуру, сказала с одобрением: — Прямо премьер-министр.

Сама она в красивом длинном платье, волосы уложены в высокую прическу, и оттого кажется, что Инна выше ростом, чем на самом деле.

Брат Жанны Наум Лapidус бродит, как тень, из одной комнаты в другую за Инной. Это высокий брюнет лет тридцати. В поселке хорошо знают (здесь знают все!), что он еще со школьной скамьи влюблен в Инну. После школы она уехала учиться в Новосибирскую консерваторию, а он, Наум, — в Москву, в Высшее техническое училище имени Баумана. Инна осталась в Новосибирске, а он работает здесь главным технологом на трансформаторном заводе.

Узнав из газет, что Инна приехала на гастроли, Наум вечером в субботу отправился в Хабаровск, чтобы повидаться с ней. Он не знал, что Инна собирается в Биробиджан, к отцу. Встретил он ее в артистической, она только что выступила и, веселая и оживленная, сидела в кресле возле большого зеркала. Инна очень обрадовалась ему, попросила немного подождать, пока она в соседней комнате переоденется.

Они вышли из Дома офицеров и направились по улице Карла Маркса к гостинице «Дальний Восток», где остановилась Инна. Наум понял тогда, что все еще любит ее.

Они вошли в ресторан. Зал был полон, играл оркестр. С трудом они отыскивали свободный столик.

— Ты все еще не женился, Наум? — спросила Инна.

— Как видишь.

О ее теперешней жизни он имел весьма смутное представление. Она, кажется, замужем за научным сотрудником из Академгородка. В поселке судачили, что первым ее мужем был певец из ее театра.

Они долго говорили в тот вечер. Потом он поехал на вокзал, к поезду, отходившему ночью.

Теперь он видел Инну среди родных и словно не узнавал ее: милая, спокойная, мягкая, она, казалось, во все не походила на ту величественную женщину, что стояла на сцене, у рояля, в Доме офицеров.

Гости, смущенные присутствием профессора, вначале чувствовали себя немного скованно, особенно Собибенко — он очень уважал профессора, потому только слушал, о чем говорят за столом, и молча улыбался. Вскоре, однако, выяснилось, что «Гавриэлев профессор», как и все, простой смертный и говорит он о вполне обыденных вещах. Он хорошо помнил людей, когда-то живших в поселке, припоминал вместе с Гавриэлем давно забытые комические истории из их юношеской поры. А те, кто их слушал, ведь и сами были тогда молоды. Особенно гостей удивила осведомленность профессора обо всем, что касалось семьи Йошпе.

Постепенно разговор за столом сделался общим. Жанна, в светло-зеленом платье, сидела рядом с Эликом, в светлых волосах ее роза, как и у Инны (роза в волосах молодой девушки — старый обычай в поселке).

— Жанна, — доносится с другого конца стола, — так с какими успехами, ты говоришь, приходит поселок к юбилею?

— Жанна, — раздается через минуту, — сколько, к примеру, аспирантов в нашем городе на сегодняшний день?

Жанна знает все или почти все касающееся истории города. Она знает историю нескольких поколений переселенцев, знает, кто какой окончил институт, кто занесен на городскую доску Почета, кто кандидат или даже уже доктор наук, каких писателей и деятелей искусства Биробиджан подарил миру.

Гавриэль подмигивает Лаврову:

— Живая биробиджанская энциклопедия!

Шпарага тут как тут, не упускает возможности под-

задорить Жанну. Играя круглыми смеющимися глазами, говорит:

— Жанна, что слышно с талесом¹ бабушки? А?

Эта история произошла вскоре после того, как Жанна приехала из Москвы. Горком комсомола прикрепил ее к летней агитплощадке в поселке. Жанна ревностно взялась за работу и среди прочих дел задумала создать уголок атеиста. Она знала, что в поселке несколько евреев посещают синагогу, есть также кержаки и сектанты. С этими людьми нужно ведь работать! Несмотря на то что в институте Жанна прошла небольшой курс научного атеизма, у нее, по правде говоря, были довольно слабые знания в этой области. Этим тогда и воспользовался Исай Шпарага, слывший верующим.

Произошло это так.

Подыскивая предметы религиозного обихода для уголка атеиста, Жанна у какой-то старушки на чердаке обнаружила ветхую книгу с рассыпавшимися пожелтевшими листками. Она догадалась, что это книга религиозного характера, но какая именно, не знала — отсутствовала обложка.

Навстречу ей тогда попался Шпарага со своей неизменной палочкой.

— Товарищ Шпарага, — обратилась к нему Жанна, — вы, наверно, знаете, что это за книга?

— Отлично знаю, — ответил тот. — Талес.

Жанна приняла его ответ за чистую монету. В тот же день, стоя у себя во дворе, возле плетня, она поведала Гавриэлю и Гдалье о своей находке:

— Прямо музейная редкость. Старый талес бабы Мэры. Правда, странички совсем рассыпались...

Гдалье, с накомарником на голове, делавшим его похожим на старого турка, и веничком в руке, как раз собирався к своим пчелам.

¹ Талес — покрывало, надеваемое евреями во время молитвы.

— Гавриэль, Гавриэль, ты слышишь? Что это за талес со страничками? .. Эх-эх-эх! Был бы у бабушки талес, была бы она дедушкой!

Но сейчас уже и сам Шпарага вынужден признать, что Жанна прочитала уйму книг, касающихся религии. Она может одновременно быть и раввином, и попом, шутит он.

Исай Моисеевич Шпарага не принадлежит к наиболее уважаемым людям в поселке. Приехал он сюда после войны из Узбекистана — там он был в эвакуации. Говорит всем, что у него высшее образование. Одному говорит, что у него такая-то специальность, другому называет совсем иную. И вот с этим своим «образованием» он работает инкассатором в городском банке. С Гдалье у него произошла стычка при первой же встрече — на похоронах одного еврея в поселке. Шпарага, который тогда в синагоге старался заслужить у молельщиков репутацию знатока священного писания, вызвался спеть у амвона молитву за упокой души. Он начал петь, но тут выяснилось, что он не помнит молитву наизусть. Кое-как, с пятого на десятое, справился с нею, перейдя напоследок просто на разговорный еврейский язык. Гдалье упрекнул его:

— Уважаемый, если не умеете, не беритесь...

Шпарага холодно взглянул на него.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я слышал ваш «упокой».

Тот надулся:

— Ну, а если и слышали, то что это доказывает?

— Что ваша молитва...

— Что вы прицепились к ней? Кто вы такой? Атеист? Вы не имеете никакого права вмешиваться в наши религиозные дела. У нас, уважаемый гражданин, свобода совести!

— Да, но так перевирать! ..

Шпарага вспылал:

— Перевернуть?! Граждане, будьте свидетелями: он оскорбил чувства верующего. Есть специальная статья уголовного кодекса, строго карающая за это.

Однако после этого, откупив домик по соседству с Гдалье, он зачастил к нему.

— Реб Гдалье, — приставал он к старику, — вот вам уже, не сглазить бы, восемьдесят лет, почему бы вам не прийти как-нибудь в субботу к нам помолиться? Иногда не хватает кворума, не набирается десятка молельщиков. Тот не пришел, этот не пришел — старики! У меня, реб Гдалье, есть пластиночка кантора Сироте — чудо, я поставлю проигрыватель на амвоне...

— Ай-я-яй, Исай, — вздыхал Гдалье, щепотью пальцев поглаживая бритый подбородок, — какой же я, с позволения сказать, ходок в синагогу! Я работаю по субботам.

— Ну, это ничего.

— Исай, я ем трэфное¹.

— Это ничего.

— Я не верю в бога! Это тоже ничего?

— Это вам просто так кажется, реб Гдалье, — мягким, певучим голосом убеждал Шпарага. — Разумеется, нет в нас уже той веры, что была в наших дедах. Но вы понимаете, реб Гдалье, мудрецы говорят так: все течет, все изменяется! Выходит, и религия приобретает другой вид. Нынешняя вера в бога тоже уже иная.

Шпарага не пропускал ни одной лекции на агитплощадке, задавал вопросы в основном с тем, чтобы посадить лектора в калошу. Он всегда выступал от имени «группы пожилых людей».

— Уважаемый гражданин лектор, тут у нас, у стариков, возник такой вопрос. Вот вы говорите, что...

Кто-то в поселке окрестил его демагогом, и это прозвище так и осталось за ним по сей день.

¹ Трэфное — пища, запрещенная к употреблению по еврейскому религиозному закону.

Недавно Шпарага ушел на пенсию. Он открыто заявил соседям, что порывает с религией навсегда, — он, после долгих раздумий и углубленного изучения источников, пришел к выводу, что религия действительно архиреакционная идеология, опиум для народа, вот что об этом, к примеру, сказал Энгельс. . .

Одет он всегда с иголочки, на щеках под белым пушком играет румянец. Любит слоняться по поселку и рассказывать свежие анекдоты.

За столом у Гавриэля он пытается целиком завладеть разговором.

— Роман Иванович, — добродушно говорит он профессору, — давненько мы с вами не виделись.

Лавров всматривается в Шпарагу близорукими глазами. Он его знал лишь как пациента, который по протекции Гавриэля лежал у него в клинике.

— Очень хорошо, — бормочет профессор, — очень хорошо, что не виделись. Чем меньше иметь с нами дела. . .

Шпарага пропустил это замечание мимо ушей, ему хотелось начать с профессором «ученый» разговор.

— А как далеко мы продвинулись, Роман Иванович, в трансплантации сердца?

Но окружающим вовсе не хотелось слушать Шпарагу. Они углубились в далекие воспоминания. Доказывали, спорили, чей эшелон прибыл раньше, кто был колумбом, открывшим то место, где ныне находится их поселок, кто дал поселку русское название «Новый» и кто назвал его по-еврейски «Найштот»¹. Сейчас это слово читается как «Нейштот», потому что «а» потерялось и сильно смахивает на «е», поселковые шутники говорили, что председатель уличного комитета Гавриэль Йошпе бегаёт по магазинам в поисках новой буквы. . .

Столы уставлены тремя рядами тарелок и тарелочек. Печеночный паштет, жареный язык, холодное, икра. Жен-

¹ Новый город.

щины-соседки помогают, они подносят все новые и новые блюда. Каждый гость принес с собой вина либо водки и в кухне потихоньку пристроил свою бутылку к остальным. За столом разговор, смех, шутки.

— Нет, — отрицательно качает головой один из старожил, — нет! Когда я вспоминаю об этом, грустно становится на душе. Покинуть такую, можно сказать, усадьбу! Такая роскошь! Ну, хорошо — квартира со всеми удобствами! Зачем мне удобства? А вот каково без двора? Без сарая? Где держать поросенка?

— Да, — смеется Наум Лapidус, — это в самом деле сложная проблема.

Под скатертью Элик пожимает руку Жанны.

— Что вы хнычете! — восклицает он. — Город хочет породниться с вами, сватает вас, как невесту, а вы хнычете! Возле добротных старых домов мы поставим новые, а ветхие халупы, что портят вид города, мы снесем обязательно. Здесь уж вам ничто не поможет!..

И он перечислил все, что будет построено в поселке за пятилетку по генеральному плану.

— О! — подмигивают друг другу старожилы, принадлежащие к так называемым «экстремистам». Они уже немного захмелели, языки у них развязались. — Вот теперь, Гавриэль, это действительно будет «Найштот»!

— Найштот! Найштот! — повторяют все гости хором и дружно выпивают за сорокалетний юбилей поселка Найштот — Новый.

Шпарага пытается затянуть тихо песню:

Ай, деревья расцветают,
Года улетают,
Время уносит, как дым...

Один из старожил, возмущается:

— Что значит как дым? Впустую? По-твоему, значит, ничего не сделано, а?

Другие его поддерживают:

— Не совсем как дым!..

Старик Гдалье, видимо, переоценил сегодня свои силы, к тому же еще к нему подсел Шпарага и подсунул «ерш». Это сразу оказало действие. Гдалье обвел сидящих за столом помутневшими глазами: почему не поют? Почему он не слышит голоса Инны? Что касается его, он, если не возражают, может первый начать...

Каким-то чужим, хрипловатым голосом он спел несколько старинных песен. Они беспорядочно вылетали у него изо рта, точно из заржавевшего автомата: «Соловей, соловей, пташечка...», «Ах, ты, матушка соха...», «Боже великий, возносим тебе хвалу...», «Шлойме Горгл умер, что же делать Хаве?..»

Элик пытался утихомирить деда:

— Ну-ну, довольно, дедушка, ты уже выложил весь свой репертуар!

Но Гдалье разошелся вовсю, его теперь не остановишь: он объявил, что хочет танцевать фрейлехс¹. Встал посреди комнаты, подогнул полы длинного, старомодного пиджака, засучил рукава, но тут же почувствовал слабость в ногах, опустился на диван и сразу задремал.

Кто-то из гостей спохватился:

— Инна! Спой что-нибудь.

— Инночка, «Румчи-друмчи»!

Эту песню Инна помнила еще с детства. Она без колебаний села у старого рояля, на котором уже никто не играл с тех пор, как она уехала из дома. Взяла несколько аккордов, и вслед за ними полились звуки ее сильного, красивого голоса. Она пела: «Разменяй же мне двадцать пять рублей». Всем, кто сидел за столом, эта песня была хорошо знакома — ее нередко передавали по радио. Но как трогательно и печально, с какой теплотой и нежной грустью звучала она сейчас в устах певицы.

«Румчи-друмчи»... Гавриэль смотрел на дочь, глаза

¹ Фрейлехс — веселый свадебный танец.

ее в эту минуту ярко блестели, отражая, казалось, свет из какого-то другого, неведомого мира. Завтра она улетает — снова разлука на годы. Гавриэль чувствовал, что на этот раз ему особенно тяжело расставаться с Инной.

Когда она кончила петь, Лавров поднялся и вышел в другую комнату. В этом доме он знал все ходы и выходы. Он взял с книжного стеллажа большой альбом с фотографиями и сел с ним в кресло возле журнального столика.

Знакомые виды. Он с Гавриэлем на пограничной заставе. Оба они молодые, улыбающиеся, вихрастые. Вот Гавриэль на лесах деревянного двухэтажного дома, в ватнике, с топором, — вставляет оконную раму. А вот Инна — две косички торчат из-под белой вязаной шапочки, за плечами коньки.

Другая фотография — Инна у рояля. И вот она же в длинном платье, с веером — в роли Кармен.

А вот и он сам с Хаюсей... Какое милое девичье лицо смотрит на него с пожелтевшего, старого снимка. И он — коренастый, в сапогах, гимнастерке, с глуповато-счастливой улыбкой на лице. Они сфотографировались перед самым отъездом Хаюси в отпуск на Украину.

Так он сидел с альбомом на коленях и, ероша густые седоватые брови, пытался перенестись в те далекие студенческие годы. Он снова взглянул на Хаюсю. Обыкновенное лицо. Нет, не обыкновенное! Удивительное лицо... Оно волнует до сих пор. Ему никогда не забыть выражения ее больших печальных глаз... Перед уходом на фронт он оставил у жены Гавриэля несколько ценных книг по медицине и вот эту фотографию.

Лавров обернулся по сторонам — нет ли кого в комнате? — и бережно опустил фотографию к себе в нагрудный карман. Лоб его покрылся испариной, точно он проделал невесть какую тяжелую работу. Чтобы немного освежиться, он через веранду вышел во двор. Теплый ночной ветерок шуршал листвой высоких тополей возле

крыльца; сверкали золотые светлячки и тут же исчезали во тьме. Над крышами поселка сиял большой лунный серп. Из-за деревьев Лавров увидел Жанну и Элика, спускавшихся по ступенькам в сад.

И снова его мысли вернулись к тем людям, которые сегодня здесь, в этом доме, отмечали юбилей — юбилей поселка. Они построили его своими руками на этой дальневосточной земле — на земле, которая стала им родным домом. И еще он подумал о судьбе трех поколений этой близкой ему семьи, которая являлась как бы частицей и его собственной жизни.

— Роман! — услышал он голос Гавриэля. — Где ты, Роман?



первые дни нашего путешествия по Амуру мы шли в сплошной полосе дождей. Зато сейчас благодать! Над сверкающей, ослепительной белизной и праздничными огнями теплохода стоит густо-синяя, бархатная ночь, одна из тех упоительных ночей, какие выдаются в июле на Амуре. . . Несмотря на поздний час, пожилые туристы еще степенно кружат по верхней палубе, а молодежь отплясывает на корме под лихую игру баяна.

Я стою на палубе в тихом, укромном местечке. Чуть поодаль от меня в плетеной качалке одиночествуется молодая черноволосая женщина в пушистом красном свитере и черных брюках. Она смотрит зачарованно на проплывающие лесистые берега, утонувшие в первозданном густом мраке. Днем я видел ее в салоне третьего класса. Она играла в шахматы с каким-то крупным золотозубым мужчиной в оранжевой тенниске. Позже возле нее вертелся молодой человек с курчавой черной бородкой, с огромным фотоаппаратом через плечо — доцент мединститута. Соперничал с ним, доцентом, летчик гражданской авиации с серыми насмешливыми глазами. Возможно, они ей оба изрядно надоели своим неиссякаемым, бьющим через край остроумием или просто захотелось побыть немного одной. . .

Долго, однако, наслаждаться тишиной и приятным одиночеством не удастся. За спиной послышались тяжелые шаги моего соседа по каюте Эдуарда Максимовича

Свердлика. Я узнаю их по визгливому скрипу его модных сандалет.

— Ага, вот вы где!

Он пришел, как обычно, уговорить меня перекинуться в картишки, найти партнеров для преферанса. Увидев мою соседку, он остановился, широко раскинул руки на поручни, крупными ноздрями втянул в себя изрядную порцию речного воздуха и громко стал восторгаться красотой приамурской природы:

— М-м-м-м! А-а-а-а! Удивительно! Твердят: «Сочи! Сочи!» По сравнению с этим...

Эдуард Максимович небольшого роста, с округлым брюшком. «Профессорское» лицо его по-южному матово-смуглое. Ему уже за пятьдесят, но он в избытке сохранил молодость души. Это большой франт и на редкость общительный человек. За короткое время нашего путешествия он перезнакомился почти со всеми туристами и с экипажем. Женщинам он галантно целует руки, с мужчинами здоровается по-военному — прикладывает кончики пальцев к нейлоновой панамке. Объясняет он это тем, что целых тридцать лет проработал главным закройщиком в Хабаровском военторге, и если бы военным портным полагались звания, говорит он, то его чин был бы, пожалуй, не ниже генерал-майора.

— Кто сия красавица? — тихо осведомился Эдуард Максимович.

— Вы... меня спрашиваете? — удивился я.

Он бросил сбоку взгляд на незнакомку — взгляд старого жуира, — задумчиво пожевал губами.

— Может быть, кому-то назначила здесь свидание?

— Не знаю.

— А что вы знаете! — взорвался он. — Стоите, как истукан. Попытались хотя бы разговор завязать? Смееетесь? Так вот, поглядите, что может дамский портной!

Он сделал несколько решительных шагов к незнакомке, и я услышал его голос, уже не жиденький, певучий

тенорок, а какой-то новый, ранее не слыханный мной бархатный баритон. Таким голосом, наверно, разговаривает он в ателье со своими особо знатными заказчицами.

— Пардон, разрешите узнать, вы у нас ничего не шили?

Женщина повернула к нему голову, посмотрела на него большими лучистыми глазами; в уголках ее полных губ появилась едва заметная улыбка.

— К сожалению, нет.

Свердлик приложил палец к виску, словно тужась что-то восстановить в памяти.

— Странно, — таких заказчиц мы обычно запоминаем. Погодите, вы ведь из филармонии? Не так ли? Ну да, конечно, из филармонии.

— Почему вы так думаете? — рассмеялась она.

— О, у меня на это свои приметы. («Заказчицам, — поучал он меня, — нравится, когда их принимают за актрис или за певиц. Они вам охотно простят такую ошибку!»)

Некоторое время они молчали. Из черной бездны до нас доходил шум разрезаемых волн. На этом, показалось мне, разговор у них иссякнет. Видать, незнакомка не из разговорчивых. Но я ошибся. Вскоре у них пошла оживленной беседа. («Какая интеллигентная дама, — поучал он меня, — не найдет о чем потолковать по душам с дамским портным?») Я прислушался — речь шла о последних новинках сезона. Во многих терминологических тонкостях я не разобрался, но узнал, что наша незнакомка москвичка, что зовут ее Агния Владимировна, что работает она в каком-то научно-исследовательском институте.

— А с чем имеет дело ваш институт, коли не секрет?

— Со звездами, — улыбнулась женщина.

— О, — рокотал баритон Эдуарда Максимовича, — выходит, мы с вами коллеги: в нашем ателье мне также приходится иметь дело со звездами, правда, всего лишь

из мюзикомедии и драмтеатра... Позвольте же полюбопытствовать, какими судьбами очаровательная москвичка очутилась в эту июльскую ночь на нашем Амуре?

— Желанием хоть раз в жизни побывать на Дальнем Востоке.

Эдуард Максимович удовлетворенно кивнул.

— Уверен, что не раскаетесь. Дальний Восток есть Дальний Восток! — И вдруг обернулся ко мне: — Подойдите сюда, странный вы человек! Что вы боитесь красивых женщин? Вот, рекомендую — отважный землепроходец. Всю жизнь живет на Дальнем Востоке и целых три десятилетия готовился к путешествию «Хабаровск — Благовещенск — Николаевск-на-Амуре» — и вот, как видите, успешно совершает его на туристическом теплоходе имени знаменитого предшественника Миклухо-Маклая...

Каскад острословия Свердлика неожиданно был прерван голосом массовика, который митинговым тоном оповещал из репродуктора о нашем прибытии в центр ульчинского национального района Богородское. «Стоянка, товарищи туристы, будет длительная... Любители рыбной ловли будут иметь возможность заниматься этим видом спорта. Состоится матч рыболовов-мастеров, затем художественная самодеятельность с участием знаменитых артистов...»

Из радиорубки грянул красивый старинный марш «Тоска по родине». Через несколько минут замерцали береговые огни. Вот оно, Богородское. Мы ринулись вниз. Людской поток подхватил нас и понес по трапу к дебаркадеру, а оттуда на высокий, слабо освещенный берег, который, несмотря на поздний час, еще полон был гуляющей молодежью и людьми, пришедшими встречать теплоход. И тут перед нами неожиданно выросла коренастая фигура молодого человека в берете и болонье. На скуластом, широком лице большие черные очки, придававшие ему особую солидность. Он бросился мне пожимать руки.

— Откуда вы свалились?

— Ба! — воскликнул я. — Сергей, ты?

— Я, — смеясь, подтвердил молодой человек. Это мой бывший ученик, ульча Сергей Мардю, несколько лет назад окончивший в Биробиджане художественно-графическое училище. — Добро пожаловать! — сказал он. — Наконец-то вы выбрались в наши края. А это надо отметить. Я живу недалеко отсюда. — Он показал куда-то в темень, на черный массив деревьев. — Прошу вас, зайдите ко мне. Времени у вас предостаточно. Хочу вас познакомить с нашими. И вас прошу, — обратился он к Свердлику, а москвичке отвесил галантный поклон: — Прошу!

Та с веселым недоумением посмотрела на него.

— У нас так принято, — улыбнулся он ей, — друзья наших гостей — наши гости.

Первый откликнулся Эдуард Максимович.

— Как друг нашего дорогого гостя, не смею отказываться. Эдуард Максимович, — представился он, — работник министерства легкой промышленности, лицо небезызвестное в краевом центре. А это Агния Владимировна Лазарева, кандидат физико-математических наук. Надеюсь, она не захочет расстроить нашу компанию...

Меня очень забавляла эта сценка. Я ждал, что скажет москвичка. Она, чуть поколебавшись, дала себя уговорить. Видимо, решила, что от такого случая — побывать в гостях у ульчи дома — не стоит отказываться.

— Что ж, — она бросила лукавый взгляд в мою сторону, — если «гость» согласен на этот вечер включить меня в число своих друзей... Большое спасибо. Разрешите только переодеться.

Она убежала в каюту. Вслед за ней с загадочным видом исчез и Эдуард Максимович. Оставшись одни, мы с Сергеем, перебивая друг друга, стали вспоминать его однокурсников, рассеянных по всему Дальнему Востоку. Он расспрашивал о своих учителях, о нашем городе, где у него много друзей и знакомых. Знаю ли я что-нибудь (следует маленькая заминка) о... Плиевой?

«Ага, о Плиевой...»

Сообщаю ему все, что мне известно о ней. Сергей жадно слушает. Затем некоторое время отсутствующе молчит. Может быть, в эту минуту перед ним витает образ сероглазой, золотокозой красавицы осетинки Оли Плиевой, его однокурсницы, к которой он был неравнодушен...

Но вот и москвичка. На ней не брючки, а нарядное темно-голубое платье, делающее ее чуть полнее и представительней. В руках большая нарядная коробка, — должно быть, конфеты. Вслед за ней из мрака выныривает приземистая фигура Свердлика.

— Порядок! — моргает он мне, показывая на две объемистые бутылки.

Сергей повел нас к поселку, смутно выступавшему за кущами деревьев. Даже при слабом свете редких фонарей бросается в глаза его живописность. Улица, по-городскому широкая и прямая, вымощена камнем. Дома под шифером, из добротного сколоченного кедра. Мы вошли в один такой дом и сразу оказались в просторной, обставленной современной мебелью комнате. Встретили нас двое широкоплечих ульчей средних лет, с загорелыми, обветренными лицами, похожие друг на друга, — старшие братья Сергея, рыбаки.

— Один из моих учителей, — представил меня Сергей братьям. — А это его друзья. Путешествуют по Амуру.

Хозяева радушно жали нам руки, несколько не удивляясь нашему появлению. Москвичка просила извинить нас за столь позднее вторжение.

— Для гостей нет позднего или раннего часа, — ответил один из братьев, весело поблескивая узенькими глазами. — Располагайтесь.

Весть о гостях быстро распространилась среди сородичей Сергея. Дверь то и дело хлопала. Входили ульчи и ульчанки. Среди них я увидел молоденького лейтенанта с жиденькими усиками ниточкой и сухопарого мужчину

лет сорока в ослепительно белой нейлоновой сорочке с черным галстуком. Вид у него был очень важный.

— Это директор кинотеатра, — представил его нам Сергей. — Тоже из нашего рода.

Первым делом принялись мы рассматривать развешанные на стенах цветные линогравюры и акварели. Родственники Сергея вместе с нами останавливались у каждой работы, ревниво следили за выражением наших лиц. Москвичка задержалась у небольшого графического листа «Старое стойбище». Почернелые фанзы на заснеженном берегу реки... Отошальные собаки грызутся из-за кучи рыбьих костей... Одинокие фигуры людей в одежде из оленьих шкур... Хорошо передано ощущение безысходности, обреченности.

Сергей стоял в сторонке. Он то снимал очки, то вытирал их куском замши, то снова надевал, снова снимал...

— Вся серия, — сказал он, — сейчас на краевой выставке.

Эдуард Максимович долго и с чувством тряс ему руку.

— Как коллега коллеге, скажу без обиняков: да! И еще раз да!

Сергей уважительно посмотрел на него:

— Вы художник?

Свердлик выдержал многозначительную паузу.

— На этот вопрос, коллега, пусть ответят вам хабаровские дамы...

Москвичка призналась, что она недостаточно разбирается в изобразительном искусстве, но по тем замечаниям, которые она сделала о некоторых этюдах, по ее мнению наиболее удачных, видно было, что разбирается она совсем не плохо.

— Не смею просить, — сказала она, — но мне очень хотелось бы иметь на память какой-нибудь, хотя бы маленький, набросочек ваш.

Она произнесла это несколько смущенно, но улыбающиеся глаза ее смотрели на Сергея с уверенностью хоро-

ишённой женщины, знающей, что ей не откажут. И действительно, порывшись в своих многочисленных папках, навалом лежавших на всех подоконниках, на диване, Сергей извлек небольшую линогравюру — портрет старого ульчи.

— Это мой дед, — пояснил он.

Вскоре появился в комнате и сам дед Сергея. Он уже спал, но для такого случая его подняли или сам встал — посмотреть на гостей. И вот он сидит за столом. Лицо его неподвижно. В широко растянутых губах трубка с коротким мундштуком. Пряди волос на голове жестковаты и пепельно-серы. Художник удивительно верно передал характер лица старого ульчи. Старик устремил узенькие глаза на молодую женщину, поздней ночью появившуюся в доме из каких-то неведомых далей. Со спокойным любопытством поглядывал он на оживленные лица окружающих. Губы его кривились в улыбке. Сквозь пожелтевшие зубы он что-то произнес на своем языке. Старик хотел знать, что это за люди, кто эта женщина и чем занимается. Сергей на мгновение задумался, как бы попонятней объяснить старику. Он что-то сказал ему, показывая рукой на потолок, — дескать, имеет дело со звездами на небе. Старик булькал-булькал трубкой. В глазах у него мелькали насмешливые искорки.

А на столе тем временем появилось щедрое угощение. Тарелки с золотисто-красной икрой, копченая кета, отличающаяся янтарным жирком, вареная рыба с какими-то остро пахнувшими кореньями. Еще какие-то неизвестные нам блюда. Эдуард Максимович незаметно пристроил туда свои бутылки. Нас посадили на самые почетные места, и один из братьев Сергея произнес застольное слово. Он провозгласил здравицу в честь земляков-дальневосточников, учителей, учивших Сергея и сделавших его художником. Он предложил выпить за дорогих гостей, за ученую женщину, приехавшую к ним из самой столицы Москвы...

Все чокнулись с нами. Директор кинотеатра налил себе стаканчик, встал и, приложив театрально ладонь к груди, сказал:

— Учитель! Велико слово! Бум здоровы!

И, откинув несколько назад голову, залпом опорожнил стаканчик. Другой брат Сергея, коренастый малый с могучими, мосластыми руками в ссадинах, посмеиваясь, обратился к нам:

— А у нас, дорогие гости, обычай давнишний, от дедов-прадедов к нам дошел: пока гость не съест и не выпьет все, что на столе, он не должен подниматься.

— Что и говорить, обычай чудесный, — кивнул Свердлов. — Лет десять назад еще неизвестно было бы, кто вышел бы победителем из этого замечательного турнира, гость или хозяин...

Среди подававших к столу наше внимание привлекла девушка с красиво удлинненными к вискам глазами и червонно-красной прической высоким стожком, как и у москвички, с таким же бледно-розовым лаком на ногтях. На ней было светло-серое коротенькое платье и кремовые босоножки. В ее разговоре с нами, в смехе, во всей манере держаться было, я бы сказал, что-то столичное. От моего соседа, директора кинотеатра, я узнал, что это не простая девушка, а певица, дирижер-хоровик, окончившая краевое училище искусств, а сейчас студентка заочного отделения Новосибирской консерватории...

Сородичам Сергея заметно хотелось похвастать перед нами своей певицей. Они были очень довольны, когда мы попросили ее спеть ульческую песню. Девушка мило улыбнулась припухлыми подкрашенными губами. Поворот шеи, легкий, кокетливый наклон головы к плечу — и перед нами уже не Нина Мардю, певица, артистка, а озорная ульчанка, сердцеедка, по которой сохнут ульческие парни. Она спела игривую любовную песенку. Мелодия нам показалась довольно однообразной, но сидящие за столом слушали ее с сияющими от восторга ли-

и, смеясь, стали кричать, что мы нарушили древний обычай: почти все угощение осталось на столе...

— Чем можем искупить наш грех? — смеялись мы.

— Еще раз приехать в гости в этот дом, к этому столу! — кричали нам хозяева и их родичи.

Провожать нас к пристани вышла вся родня Сергея. Я бросил прощальный взгляд на гостеприимный дом, где мы, столь разные, совершенно случайно встретившиеся незнакомые люди, так хорошо провели вместе эту июльскую ночь. Возле высокого крыльца днищем кверху лежали две большие плоскодонные лодки. Вдоль забора двора тянулись длинные штабеля наколотых дров. На штакетнике серели рыбацкие сети. Кисловато-сладко пахло сушеными таежными ягодами.

Мы шли по предрассветной безлюдной улице. Нетвердо шагавшего Эдуарда Максимовича с обеих сторон поддерживали братья Сергея.

— Сочи! — бормотал он. — Сочи, друзья, по сравнению с этим. . .

Я слышал, как осипшим голосом он заявлял своим спутникам, что как только выйдет на пенсию, сразу переселится в этот райский уголок, пленивший его сердце. И будьте уверены, тут появится ателье первой категории! И будьте уверены, богородские красавицы уж будут одеты по последнему крику моды — «дерные кри»!

Бережно, как что-то хрупкое, вели под руки москвичку Сергей и директор кинотеатра. Она говорила им, что эта ночь одна из самых удивительных в ее жизни, что ради этой ночи стоило лететь сюда из Москвы, плыть на пароходе по красавцу Амуру в это замечательное селение, к этим чудесным людям, что за эту ночь она неожиданно приобрела друзей, которых никогда не забудет!

...Амур встретил нас тяжелым, влажным туманом. Резкий ветер со свистом гнал низкие, свинцовые облака, напоминая, что мы уже в преддверии «ворот Севера» — Николаевске-на-Амуре!

цами, весело и лукаво перемигиваясь, подпевали в особо выразительных местах, нахлестывая в ладоши и притопывая. Мы аплодировали и попросили ее спеть что-нибудь из ее репертуара. Ну, разумеется, как у всех певцов и певиц, она сегодня не в голосе... И, собственно, у нее еще ничего нет... Кроме того, без рояля...

В конце концов она согласилась. Лицо ее принимает серьезное выражение. На какое-то время она уходит в себя. Затем с большим чувством спела арию Полины из «Пиковой дамы». Голос у певицы сильный, красивый. Москвичка встала и поцеловалась с нею. Все чрезвычайно были растроганы этим зрелищем, и бурные аплодисменты перешли в овацию. Свердлик, уже крепко навеселе, начал рассказывать какую-то смешную историю. Стоял оживленный многоголосый говор.

Должно быть, мое присутствие навело Сергея на воспоминания о его студенческих годах в нашем городе. Бросив на меня общенческий взгляд, поводя плечами, он с задором запел песенку, довольно часто передававшуюся у нас в то время по радио:

Ой, Ицикл тшойн хосене геот!
(Ой, Ицикл женился наконец!)

Лицо Свердлика смешно вытянулось. На какой-то миг он оцепенел, держа на весу ложку с красной икрой. Он повернулся ко мне, не веря своим ушам, и вдруг захохотал во все горло. Махнув молодецки рукой, он стал подпевать Сергею. Вот уж чего я никогда не ожидал — услышать эту еврейскую песенку в ульческом селении, в доме Сергея Мардю!

...Все же нам пришлось подняться из-за стола раньше, чем того хотелось хозяевам. Где-то во дворе загорланил ранний петух. И, словно в ответ ему, в ночной тишине над Амуром поплыл долгий басово-певучий двухголосый гудок. Это собирался в путь наш «Миклухо-Маклай», скликая своих пассажиров. Все вскочили со своих мест



от старинный дальневосточный, приамурский город я покинул в двадцать втором году. Поехал в Хабаровск и долгое время работал там в порту, потом в Ленинград — учиться на рабфаке.

Много лет я не имел с этим дальневосточным городом никакой связи и лишь приблизительно мог себе представить, как он выглядит. По правде говоря, я уже и не рассчитывал когда-нибудь снова побывать там, вернее, я бы очень хотел на старости лет вновь увидеть этот город, точно так же, как и другие города, где бывал, но это было бы уж слишком большой роскошью. Однако — каких чудес не бывает на свете! — вот уже три года как у меня, весьма неожиданно, опять установился контакт с этим городом. Там живут теперь Ляля и Борис — моя дочь, хирург, и ее муж, доцент педагогического института. И, кроме того, группа архитекторов из Ленпроекта, куда вошел и я, несколько лет уже работает над генеральным планом этого города. Проекты, которые наш институт посылал туда, нередко вызывали возражение у тамошних руководителей, у строителей; особенно часто получали мы предложения и коррективы от Ярошенко, нового главного архитектора города — женщины, сменившей прежнего, довольно мягкого, покладистого человека. Замечания ее не могли иной раз не вызывать досады. Немало летело от нас в ее адрес острых словечек и шуток. Мы говорили: «Новая метла чисто метет». Входивший в нашу группу

Гурген Иванович Гейвандов, закатив печальные армянские глаза, трагически разводил руками:

— Монстр! На периферии они всегда безудержные новаторы!..

И хотя мы то и дело приходили к выводу, что у этой Ярошенко, видно, голова не на месте, все же, случалось, вносили ее коррективы в проект.

Для обсуждения последних вариантов плана от института решено было послать кого-то из нашей группы, да такого, что позубастей. Но кого? У всех срочная работа. Что же касается меня, то ко мне просто не решались обратиться, ибо, по понятиям ленинградцев, грешно посылать пожилого человека на Дальний Восток да еще самолетом!.. Но когда я сам объявил, что вовсе был бы не против такой командировки, моему предложению, разумеется, обрадовались.

— Главное, — напутствовали меня, — дайте им там понять, что план составлен в полном соответствии со всеми требованиями современного градостроительства!

Несмотря на неважные погодные условия, наш лайнер приземлился точно по расписанию — в одиннадцать вечера. Меня встретили Ляля и Борис. Борис тотчас помчался за моим чемоданом, а мы с Лялей ожидали его в здании аэровокзала. Лишь здесь, в молочно-фиолетовом свете зала ожидания, я как следует разглядел лицо дочери. В сером пальто и пуховом, пепельного цвета берете, она, сияющая, раскрасневшаяся, была очень мила. В голове у меня немного шумело, это вполне естественно после десятичасового полета, но в общем я чувствовал себя неплохо.

Вскоре явился и Борис с чемоданом. Поставив на пол чемодан, он, не стесняясь окружающих, опять неловко, по-мальчишески, обнял меня.

— Азарий Львович!

Ляля, улыбаясь, сказала:

— Ну, довольно, довольно, идемте же!

Мы вышли на освещенную привокзальную площадь и направились к стоянке такси. За оградой летного поля, у самого горизонта, чернела длинная гряда сопок, поросшая негустым лесом. Я остановился, чтобы осмотреться.

— Что ты смотришь, как будто ищешь что-то? — поинтересовалась Ляля.

— То, что я ищу, — ответил я, — вероятно, уже кануло в вечность. На этом месте была когда-то дремучая тайга с узкой просекой и пять-шесть охотничьих фанз...

Борис круто повернулся ко мне:

— Скажите, пожалуйста, откуда вы все это знаете?

— Дело в том, что несколько дней мне пришлось отбывать здесь, «на даче», — усмехнулся я, — прятался от казаков атамана Гамова, блокировавшего вход в город.

— Значит, вы здесь были в то время, когда тут каппелевцы орудовали?! — воскликнул удивленно Борис.

— Не только каппелевцы, но и японцы, и семеновские банды, и калмыковские, — добавил я. — Был я тогда в партизанском отряде Бородовкина...

— Ляля, ты слышишь? — спросил Борис.

— Слышу, — ответила спокойно Ляля. — Это для меня не новость.

Борис знал о том, что я «сибиряк». Пожилой еврей, уроженец Дальнего Востока, я, видимо, представлялся ему в некоем сказочном ореоле и вызывал такой же интерес, как, скажем, грузинский или бухарский еврей. Но о том, что я принимал участие в гражданской войне на Дальнем Востоке, он слышал, очевидно, впервые.

— Так что же вы молчали до сих пор?! — воскликнул он с жаром. — Вы-то как раз мне и нужны!

— Рад служить, — ответил я, не понимая еще, к чему он, собственно, клонит.

Мы сели в такси. Холодная зеленоватая луна плыла нам навстречу в легкой дымке уходящей зимы — весна была уже не за горами. Машина долго неслась мимо заснеженного поля. Вдалеке то поднималась, то опускалась

мерцающая гирлянда ночных огней большого города. Вскоре мы достигли пустынной, слабо освещенной окраины. Машина свернула на улицу, застроенную многоэтажными белыми домами, и у одного из них остановилась. Мы поднялись на пятый этаж. Я очутился в небольшой передней, за которой следовали две комнаты. В одной из них кроме стеллажа был большой книжный шкаф. Книги, книги всюду, даже на полу...

На стене я заметил фотографию девочки лет пяти с большим бантом в волосах. Глаза точно вишни, как у Бориса, а волосы светлые, Лялины. Это моя внучка Маринка. Вот уже целый год, как она живет в Одессе, у матери Бориса. Та считает, что для ребенка куда полезнее Одесса, нежели «тундра, где разъезжают на собаках и оленях»... Бабушка из Одессы не очень сильна в географии, и потому Дальний Восток представляется ей, видимо, не иначе как застывшей каменной глыбой, где нормальной жизни нет и быть не может.

Мне же хорошо известно, как живет здесь Ляля и Борису. Они нередко звонят мне, я — им. Я знаю, что Ляля тоскует по Ленинграду, но в общем-то ей здесь нравится и своей работой в клинике она очень довольна.

А Борис чувствует себя здесь словно рыба в воде. У него много друзей, и все они знают, что он душой болеет за этот дальневосточный город. Он еще и знаток и исследователь его истории.

Ляля и Борис, перебивая друг друга, засыпали меня вопросами о Ленинграде: что там нового?

Однако они сами обо всем были хорошо осведомлены и кое о чем даже лучше меня. В разговоре я упомянул о цели своей миссии — обсудить с местной общественностью генеральный план строительства города.

— Не знаю, как у вас, у сибиряков... — Борис встал с места, вышел из комнаты и тотчас вернулся с пузатой бутылкой в руках. — У нас в Одессе заведено такое событие отмечать тут же, не откладывая на завтра...

Он наполнил три рюмки.

— Вот тебе раз! — надула капризно губы Ляля. — У меня завтра операция, и отцу тоже не следовало бы в такой поздний час. . .

— Мы с вами, Азарий Львович, простые смертные, не хирурги, — сказал Борис, — так давайте же выпьем за ваш приезд сюда, в город вашей юности, и заодно уж за генеральный план нашего города, в котором есть и ваша доля! А город, Азарий Львович, будет великолепный! Даю слово!

Утром мы с Борисом проводили Лялю в ее больницу, а оттуда направились к Педагогическому институту. Выяснилось, что Борис активный член общества охраны памятников, что касается застройки новых районов, у него есть на этот счет свои довольно оригинальные суждения. Естественно, прежде всего его интересует судьба памятников. Прошли с ним мимо того исторического двора, который свыше ста лет назад солдатам капитана Дьяченко из тринадцатого линейного батальона послужил основой для создания нового поселения.

Почти полвека прошло с тех пор, как я впервые побывал в этом дворе.

Все здесь было по-прежнему — те же деревянные домишки из темно-золотистой сосны. Деревянная церквушка. Этот укромный, тихий уголок, свидетель давно отшумевших дней, безмятежно глядел сейчас на шумную улицу с новыми, высокими домами из белого кирпича.

— Интересно, что будут делать с этим? — размышлял вслух Борис. — Одно ясно: при всех вариантах нужно обязательно сохранить этот памятник для будущих поколений. Без него мы не можем представить себе наш город! — Он так и сказал «мы» и «наш». — Однако он вам несколько испортит архитектурный ансамбль. . .

Я успокоил Бориса, сказав, что никто не собирается, как говорится, рубить сплеча. Есть несколько рациональных предложений. Одно из них: забрать дворик в ажур-

ную чугунную решетку с гранитным или мраморным фундаментом.

— Карьеров с мрамором у вас здесь достаточно, — сказал я ему. — И тогда этот дворик чудесно впишется в запланированный ансамбль. Кстати, принадлежит эта идея здешнему главному архитектору, к нему-то в горисполком я как раз и должен сейчас пойти.

Улицу, что вела к горисполкому, я, хотя и смутно, все же помнил. Она мало изменилась: те же дома, что когда-то являлись украшением города, и те же самые дворы, ранее принадлежавшие богатым горожанам. Правда, выглядели эти дома сейчас в моих глазах несколько иначе, потому что за ними поднялись ввысь жилые корпуса незнакомого мне города. Я знал, что в этом городе, расположенном у самой границы, раньше строили очень мало и все, что я увидел здесь теперь, возвели за последние несколько лет. Мне вдруг захотелось пройтись по новым кварталам, застроенным в соответствии с генеральным планом, но я решил, как особенное удовольствие, отложить это на потом. Сначала нужно встретиться с главным архитектором, познакомиться с «монстром», как выражался Гейвандов, когда бывал не в духе.

«Монстром» оказалась рослая красивая женщина лет этак тридцати шести. Светлые, крашенные волосы уложены в высокую прическу. Из-за нескольких веснушек вокруг носа ее круглое, белое, слегка полное лицо казалось особенно миловидным. Во внешности этой женщины было что-то артистическое. Когда она подняла на меня темно-карие веселые глаза, я подумал, мысленно обращаясь к Гейвандову: «Сам ты монстр! Не мы ей, а она, кажется, будет диктовать нам...»

Услыхав, кто я, женщина энергично поднялась с места, представилась:

— Ярошенко-Сомова.

— Сомова?

— Да. Это моя девичья фамилия, — улыбнулась она

и спросила, где я остановился. Для меня, оказывается, забронировали в гостинице место и даже встретили бы, если бы я дал заранее телеграмму.

Я успокоил ее, сказав, что все в порядке.

— Меня встретили дочь и зять, и сейчас я нахожусь у них. . .

— Вот как? У вас здесь дочь? Как ее фамилия? Возможно, я ее знаю.

Я сказал.

Нет, мою дочь, хирурга Залкинд, она не знала, но фамилия ей была знакома: к ее отцу заходит иногда один молодой человек по фамилии Залкинд, не ее ли муж?

— Возможно, — согласился я.

Сомова. Постойте-ка! Сомова! В памяти смутно всплыл облик высокого светловолосого парня в матросской рубашке. . . Сомов! Имя его я забыл или, вернее, так и не успел узнать в то бурное время. . . Он был из местных, работал в порту. От его брезентовых штанов и высоких, выше колен, резиновых сапог всегда пахло рыбой и водорослями. Я, в ту пору семнадцатилетний паренек, служил у николаевского купца Чиликина и вместе с его приказчиками гнал сюда, вверх по Амуру, баржи с бочками рыбы и красной икрой, а отсюда переправлял по Сунгари в Харбин. Здесь и завязалось мое знакомство с Сомовым. Возможно, эта Сомова имеет к нему какое-то отношение? . .

Из дальнейшего разговора я узнал, что отца ее зовут Андрей Константинович, он одно время был председателем облисполкома. Сейчас он персональный пенсионер, но работает — в обществе охраны природы. Уже несколько дней, как Андрей Константинович находится в Белогорске, соседнем городе, куда его пригласили на встречу с учащимися местного ремесленного училища.

— Если это действительно тот самый Сомов, — сказал я, — мне с ним обязательно нужно встретиться.

— А откуда вы знаете «того» Сомова?

— О, это еще с юных лет! Правда, мы были вместе короткое время, но что это было за время!..

— Ну, раз такое дело, — улыбнулась Сомова, — выходит, вы наш! Почти местный. В таком случае вам и карты в руки, вы должны стоять особенно ревностно на страже наших интересов, прислушиваться ко всем доводам нашим... .

Она завела разговор о последних вариантах генерального плана.

Главная ошибка плана и технической документации, по ее мнению, заключалась в том, что над планом работали люди, имеющие весьма слабое представление о городе. Прежний главный архитектор фактически в проектировании не принимал участия, а у нас в институте, считала она, придерживались схемы обычного современного города. Поэтому и приходится теперь, при строительстве, то и дело искать более рациональные решения... .

Я возразил ей, сказав, что план не догма и его достоинство как раз в том и состоит, что он допускает возможность творческой инициативы со стороны строителей.

Сомова подала мне альбом с чертежами.

Просматривая чертежи, я незаметно наблюдал за ней и убедился, как разнообразна и сложна работа главного архитектора. Пришли двое молодых мужчин со смятым чертежом, что-то горячо доказывали ей. Пока Сомова, выслушивая их, вникала в суть дела, откуда-то позвонили, спрашивали об участке для лесопильного завода. Затем с какого-то предприятия пришли договориться о сношении старых построек на окраине города. Заходили время от времени члены приемной комиссии, вместе с главным архитектором они собирались куда-то ехать, принимать новый дом... .

Сомова высказала свое мнение о последнем варианте плана, куда уже вошли многие ее предложения. Она вынуждена была признать, что наша группа проделала большую и добросовестную работу. Лишь теперь строи-

телям придется засучить рукава. Она пообещала мне, что еще сегодня договорится с председателем городского Совета об организации общего обсуждения генерального плана. Во второй половине дня заедет за мной, чтобы показать новые кварталы города.

Когда я покинул здание горисполкома, в чистом, ярко-голубом небе уже высоко стояло солнце. На меня вдруг нахлынуло радостное чувство. Опять я нахожусь в городе, где провел короткий, но очень важный для меня отрезок жизни.

Передо мной простиралась длинная улица с домами, которые я хорошо помнил. Вот дом, куда лишь ветры революции почти полвека назад могли занести меня... Он принадлежал знатному лицу в городе, известному владельцу пароходов на Амуре. Здесь находился штаб каппелевцев и семеновцев. На крыше те же самые черные башенки, те же самые чугунные львы встречают вас у широкого парадного входа. Теперь к этим львам прибавился черный якорь с тяжелой цепью. На дверях табличка: «Школа речного пароходства». Сейчас здесь готовят кадры для амурской флотилии.

А вот и старая Преображенская улица — деревянные, позеленевшие от времени дома. В одном из них жила польская семья, которую сюда сослали. Я знал девушку из этой семьи. Ее звали Галина Нагруская. Она приходила к своему брату, служащему портовых складов. Несколько раз я встречал ее в городском саду. Вскоре я ушел в партизанский отряд Бородовкина, а когда мы вернулись в город, узнал, что капелевцы повесили ее вместе с братом возле городской тюрьмы.

Галина Нагруская стоит у меня перед глазами, словно живая, — светловолосая, с темно-синими большими серьезными глазами.

Воспоминания, воспоминания... А вокруг кипит погруженный в обычную будничную работу большой го-

род, который уже почти утратил следы того тихого купеческого городка, что жил в моей памяти...

Вечером Ляля ушла в клинику на дежурство. Я, устав от ходьбы и езды по городу, с удовольствием прилег на диван отдохнуть. Борис что-то отыскивал среди книг и бумаг на стеллаже.

Пять лет назад, когда молодой аспирант Ленинградского университета Борис Залкинд женился на моей дочери, молодая чета некоторое время, прежде чем уехать на Дальний Восток, жила у меня. Я от души любил веселого, всегда чем-то увлеченного Бориса. Он не прочь был в разговоре употребить какое-нибудь еврейское словечко или пословицу, слышанную им еще дома, в Одессе. При этом он плутовато косил глаза в сторону Ляли. Она не понимала значения этих слов. По правде говоря, я и сам не все понимал, к тому же еще он говорил на своеобразном «одесском» диалекте.

Вынув из письменного стола коричневую ледериновую папку, Борис положил ее на столик, что стоял возле дивана. Это была его рукопись об участниках гражданской войны, жителях города.

— Вы ведь живой свидетель тех дней, — сказал он, — у вас в памяти наверняка сохранились интересные факты, события! Здесь у меня есть некоторые «белые пятна». Об иных людях — настоящих героях — известно до обидного мало. Вот, например...

Он достал листок бумаги с какими-то фамилиями и именами, и среди прочих мне бросилось в глаза имя Назар!

— Как?! — невольно вскрикнул я. — Назар!

— Да. Это подпольное имя. Вам оно что-нибудь говорит? Вы его знали? Вот, кстати, его фотография.

Борис положил предо мной увеличенное фото, снятое, очевидно, со старого, местами уже пожелтевшего оригинала. С фотографии глянул на меня молодой паренек, почти мальчик, в черной казацкой папахе, лихо

сдвинутой набок. Поверх овчинного полушубка крест-накрест лента с патронами. Между колен паренек с достоинством держит ружье.

— Как к тебе попало это? — спросил я.

— Выискал в архивах местного музея.

Я вспомнил тот день, когда была сделана эта фотография. В местном лазарете от тифа умер врач-большевик. Мы были на его похоронах. Вдова привела с собой фотографа, чтобы запечатлеть покойного. Вот тогда-то иные из наших партизан сфотографировались.

— Что же о нем известно? — не отрывая от фото глаз, спросил я Бориса.

— Очень мало. Андрей Константинович Сомов, бывший партизан, рассказывал мне, что этот паренек был не то татарин, не то грузин. Во всяком случае, нерусский, хотя, насколько Сомову известно, родился он на Дальнем Востоке. Был он, по его словам, смельчак, никого и ничего не боялся. Когда отряд Бородовкина из Куприяновки предпринял наступление на город, ксендз Анджей Гожелинский со своими сподручными обстрелял с колокольной башни дорогу, по которой двигался отряд. То была единственная дорога в город. По бокам — глубокая трясина. Тогда-то трое хлопцев — Сомов, Сметанкин и Назар — устремились к костелу, чтобы выбить оттуда ксендза, и всю операцию, надо сказать, провели блестяще.

У меня промелькнуло: «Да, это он, тот Сомов».

— Еще известно, — продолжал Борис, — что Назар был среди тех, кто отбил у каппелевцев подпольщицу Полозову, когда ее вели из тюрьмы в суд. Это я слышал и от самой Варвары Евдокимовны Полозовой незадолго до ее смерти. Но она также мало что могла рассказать о Назаре.

— Смотри, а все ж таки никто не забыт, ничто не забыто, — сказал я, — понемногу докапываются до всего!..

— Разумеется. За этим бдительно следит целая армия историков, — улыбнулся Борис. — А не могли бы вы что-нибудь добавить об этом человеке?

— Некоторые детали. Во-первых, он не был ни татарин, ни грузин. Он был еврей.

— Еврей?

— Да. И точно так же, как и я, уроженец Николаевска-на-Амуре. Его прапрадед был кантонистом.

Борис стенографически записывал все, что я говорил.

— А его подлинное имя? И дальнейшая судьба? — спросил он.

— Это ты и сам знаешь. Он сидит перед тобой...

Я взглянул на Бориса и рассмеялся. Он был, очевидно, ошеломлен. На миг в глазах его промелькнуло недоверие: не сыграл ли я с ним просто-напросто шутку? Он подвинул к себе фотокарточку Назара и с любопытством принялся отыскивать сходство между мной и тем молодым солдатом революционной народной армии, который с задорной улыбкой смотрел на него из глубины минувших лет...

...Полозова! Впервые я увидел ее в порту. Она встретила кого-то прибывшего из Хабаровска на пароходе «Орел». Я помню, что на ней были темно-синий костюм и белоснежная блузка. На голове соломенная шляпка с вуалью. Глядя на нее в тот момент, я никак не мог представить себе, что эта молодая красивая женщина является активнейшей участницей подпольного штаба...

В то время в городе каждый день происходили аресты. Женщина-provокатор Елена Гнатюк при одной из облав выдала Полозову контрразведке семеновцев. Подпольный штаб узнал, когда, в какой час, ее поведут из тюрьмы в суд, и выделил группу подпольщиков, чтобы отбить ее. В эту группу вошли также Сомов и я. От тюрьмы, находившейся на окраине, до здания суда, расположенного в центре, было не близко. И главное —

улицы, широкие, оживленные, на каждом шагу патруль, тут и там японцы, казаки. Мы решили провести операцию в маленьком, узком переулке, приблизительно в двухстах метрах от тюрьмы, где находились обширные глухие дворы с массивными дубовыми воротами и высокой изгородью, дома и амбары, принадлежавшие купцам и зажиточным мещанам. От переулка расходились узкие улочки: с одной стороны к заболоченному лугу, с другой — к церквушке и могильным крестам на кладбище.

Не знаю, что ощущали в тот момент мои товарищи, но я и Андрей от нетерпения места себе не находили.

Распахивается дверь. Появляется девушка с коромыслом. Увидев нас в шинелях и в казацких, с красными лампасами, штанах, она с испугом пятится назад и захлопывает за собой дверь. Здесь уже хорошо известно, что представляют собой семеновские «освободители».

Свернув с перекрестка, въезжает в переулок фаэтон, который тянут две тюремные гнеды. На козлах казак с чуприной на лбу. Спина к нему сидит грузный, средних лет офицер с пухлой папкой на коленях. Возница-казак понукает лошадей. Резиновые шины колес вязнут в рыхлом песке...

— Стой!

Офицер приподнимается, на лице его удивление.

— В чем дело? Кто вы такие?

— Облава. Ваши документы.

Фаэтон окружен. Под откинутым верхом фаэтона я замечаю сидящую меж двух казаков Полозову. Она бледна, вид у нее усталый, но даю слово, что никогда в жизни я не встречал более прекрасного женского лица. Оно светилось какой-то удивительной внутренней красотой.

Итак, все происходит молниеносно. Офицер хватается за револьвер и тут же получает подковой удар по

голове. Возница и оба конвоира стоят, подняв руки вверх. У них отбирают оружие и, связав, оставляют между изгородью и грудой тесаных бревен.

В городе потом эту историю потихоньку передавали один другому с невероятными подробностями и добавлениями. Я узнал из «достоверных» источников, что подпольщики, проделав эту операцию, будто бы оставили записку: «Суд вершится здесь. Приговор выносим мы». Подпись: «Подпольный штаб».

Однако чего нет, того нет, до такой записки мы тогда просто не додумались!

Я предложил Борису пройти в тот переулок, где наша группа когда-то освобождала Полозову. Кстати, об этом факте он упоминал в своей брошюре.

Сейчас я услышу его голос. Сейчас буду говорить с ним по телефону.

Стараюсь быть спокойным, но это плохо мне удается.

— Сомов?

— Сомов.

Голос уверенный, твердый, но уже старчески хрипловатый. Не тот голос, какой некогда был у Андрея.

— Я очень рад, Андрей, — кричу в трубку, — что ты жив-здоров! И по-прежнему в «строю»!

— Благодарю. С кем имею честь говорить?

— С давним-давним другом!

— Давних друзей люблю. Их у меня уже осталось не много... Как ваша фамилия?

Я назвал себя. В трубке длительная пауза, напряженное молчание.

— Хорошо, — сказал я, — я лучше назову имя, которое тебе больше знакомо. Был у тебя когда-то корешок Назар. Ты его звал «братко Назар»...

— Что? — разом встрепенулся Сомов. — Назар? Ты?!

Друг мой, братко! — Это было еще тогда его любимым словечком. — Где ты? Спешу обнять тебя!

— Давай встретимся в парке, у братской могилы героев гражданской войны, — предложил я, — и, может быть, узнаем друг друга, времени и старости вопреки...

— Решено, братко, — откликнулся Сомов, — узнаю Назара!

Городской парк выглядел почти так же, каким я его запомнил: длинные, густые аллеи, высокие, мощные бархатные деревья, кедры. Правда, на месте деревянного здания театра, напоминавшего огромный сарай, сейчас стоит прекрасное сооружение с дорическими колоннами у входа. Неподалеку ресторан, павильоны, киоски. Братская могила с надгробием находится в самой дальней аллее, где лежит еще глубокий и плотный снег, но со всех соседних аллей туда ведут протоптанные тропинки.

У ограды я застал школьников с молодой учительницей, кроме них было еще несколько человек, вероятно, приезжие. Учительница рассказывала ребятам о тех, кто уже полвека покоится под черным гранитным постаментом со скульптурой, изображающей двух партизан: один впереди, со знаменем в руках, другой раненый, напрягая последние силы, силится швырнуть гранату...

Пока я не видел здесь никого, кто мне напомнил бы Сомова. Из-за деревьев показался мужчина. Приближается сюда... Нет, не он. Юноша в распахнутом кожаном пальто, с курчавой рыжей непокрытой головой, через плечо у него переброшен фотоаппарат. Солнце очень ярко светит. Тает снег. Слышны первые весенние птичьи голоса. В соседней аллее вокруг стволов на снегу легли голубоватые тени. И там-то я заметил высокого мужчину лет шестидесяти в длинном черном пальто. Очками и бородкой напоминает Чехова. Неужели это Андрей?..

Мужчина, вижу, торопится. Приближаясь к нам, несколько замедляет шаг. Взгляд его останавливается

на мне. Нет, я не знаю этого человека. Это не Сомов! А если это все-таки Сомов, то и он меня тоже не узнает. Но как-то само собой, поневоле, мы устремляемся друг к другу, останавливаемся и молча смотрим — я на него, он на меня. Первое, что я замечаю, — большие темные круги под глазами и худую, морщинистую шею. А как выгляжу в его глазах я сам?

— Назар?... — тихо произносит он с сомнением и радостью в голосе.

— Андрей!

Ох, как трудно пробиться через десятилетия к тому далекому, молодому Андрею Сомову!

— Назар! — повторяет он, очевидно силясь восстановить в памяти далекий образ юного Назара.

— Андрей! — вторую я и мысленно представляю себе хлопца в матросской куртке и высоких резиновых сапогах.

Мы обнимаемся с ним, целуемся. В глазах и у него, и у меня слезы. Словно из-под земли вырастает подле нас рыжеволосый парень в кожаном пальто.

— Вот так, деды, постойте-ка, — командует он и несколько раз щелкает фотоаппаратом.

В большом, ярко освещенном зале горисполкома, где должны были обсуждать план, мы — я, Ляля и Борис — уже застали немало народу. Очевидно, руководство города решило привлечь к обсуждению широкую общественность. Здесь были не только строители, но и представители предприятий и учреждений, журналисты, писатели, искусствоведы. Большинство собравшихся толпилось возле столов с макетами будущих улиц и районов, проектируемых согласно генеральному плану. Судя по макетам, уже сейчас можно было предположить, что это будет прекрасный город.

Немного поодаль я увидел Сомову. Она стояла воз-

ле председателя городского Совета, с которым она же накануне меня познакомила. Хотел было я уже направиться к ним, но тут кто-то тронул меня за рукав. Обращиваюсь — Андрей. После нашей встречи в парке мы с ним были почти неразлучны. Вместе бродили по тем местам, что были связаны с нашей юностью, навестили ветеранов гражданской войны, старых партизан дальневосточников, которые живут в этом городе. Меня хорошо помнили лишь двое, остальные — или очень смутно, или вовсе не помнили. Но все принимали так радушно, словно наша встреча была для них большим праздником. Везде меня приглашали «отметить» встречу, и Ляля даже стала поговаривать, что я «загулял». В этих дружеских застольях каждый из нас рассказывал о том, как сложилась его жизнь после того, как изгнали белых, и после того, как разбили фашистов. В памяти всплывали забытые эпизоды, и мы обязательно при каждой встрече пели нашу партизанскую песню:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

— Идем, — сказал мне Андрей и взял меня под руку. — Взглянем на нашу далекую молодость...

У одной из стен зала стояли стенды с фотографиями старого города, и среди прочих была фотография исторического дворика с церквушкой. Маленькие деревянные домишки. Высокие глухие заборы с воротами, закрытыми на засов. Кривые, тесные, грязные улочки... У стенда остановилась группа молодежи во главе с пожилой женщиной в очках и темном платье.

— Это директор нашего областного музея, — шепнул Андрей, — кандидат исторических наук.

Женщина рассказывала о небольшом поселении, выросшем здесь сто лет назад. Вместе со своими слушателями она перешла к стенду с фотографиями участников гражданской войны на Дальнем Востоке.

Мой взгляд привлек снимок, запечатлевший паренька в матросской бескозырке, в прищуренных глазах его радостная улыбка победителя. Он, этот паренек, теперь солидный пожилой человек, стоял сейчас возле меня.

Фотографии, фотографии... Вот и Назар... И вновь слышу я о костеле, о Полозовой, о подпольной деятельности Назара.

Андрей легонько толкает меня. В его глазах вспыхивает победная улыбка матроса Андрея Сомова.

— Минуточку, Нина Алексеевна, — обращается он к рассказчице. — Я хочу добавить, что среди нас находится сейчас тот самый Назар, о котором вы только что говорили. Вот он, стоит перед вами. Он один из тех, кто помогал устанавливать у нас советскую власть, а теперь, к вашему сведению, он один из тех, кто разрабатывал генеральный план нашего города.

По правде говоря, не люблю я быть в центре внимания, а тут столько глаз устремилось на меня.

— Как вы видите, — торжественно обратилась ко мне Нина Алексеевна, — в нашем городе помнят вас.

Никогда, признаюсь, не думал, что семнадцатилетние парнишки — Назар и Андрюша Сомов — когда-нибудь будут смотреть с музейного стенда... Но мне нужно было что-то ответить директору музея и всем, кто стоял здесь. Что же ответить? Мне хотелось сказать им: «Такое уж это было поколение!..»

Но в горле вдруг комок встал, не могу слова вымолвить.

Выручил меня Андрей. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Понимаю твое состояние», и сказал громко:

— Нина Алексеевна пока рассказала вам о прошлом нашего города, о том времени, когда я и Назар — Азарий Львович Гольдин — были еще очень молоды. Ныне наш земляк архитектор, он специально приехал сюда из Ленинграда. Сейчас он расскажет вам о будущем нашего города!



своем письме ко мне
Одарка пишет:

«Голденю, голубонько! Собираюсь в дорогу... Сейчас могу себе это позволить — поехать повидаться с вами, мои дорогие. Правда, дорога дюже тяженька, а силы вже не ти...»

Знаю, что раньше она выбраться не могла — все годы работала в колхозе, на молочной ферме. Позже помогала дочери Ксане «годувати» внучат. Теперь, когда дети подросли, она «вольный казак», вольная пташка и может пуститься в такое путешествие, «повидать мир божий»...

Для меня это была огромная радость.

— Борис, Майя, — сказала я, — к нам едет тетя Одарка!

Тетя Одарка...

Майя знает ее по нескольким фотографиям в нашем семейном альбоме. На одной Одарка средних лет, белокурая, худощавая и выглядит весьма моложавой. На второй фотографии — уже пожилая, располневшая. Милое лицо. Добродушная улыбка. Видать, живется ей неплохо. У ее колен маленький мальчик лет семи в матросском костюмчике с белокурыми волосиками, вылитый Зяма, каким он остался в моей памяти.

Когда Майя вышла замуж за Бориса, я ей рассказывала о наших родственниках, оставшихся в живых после войны, а также об Одарке, которая живет в Одес-

се с дочкой Оксаной и зятем Зямой Кравец. Майя тогда удивленно повела бровью: «Тетя Одарка?» Борис говорит, что помнит ее, но как сквозь сон. Ему было всего четыре года, когда он ее впервые увидел, и семь лет, когда мы от нее уехали сюда, на Дальний Восток.

О, если бы не она, тетя Одарка!

...Это было в августе сорок первого года. Немцы двигались на наши края, как саранча. Днем и ночью проносились эшелоны с эвакуированными. Милые мои биробиджанские соседи не знают, какое это счастье, что им не пришлось испытать такие горькие и страшные дни! Вокзал и перрон нашей станции были забиты беженцами, узлами и чемоданами. Вскоре настал и наш черед покинуть родные места. Со страхом глядели мы на западный край неба, багровый от далеких пожаров. Между бездомными людьми ходили самые зловещие слухи о зверствах немцев в захваченных местах, и мы с величайшим нетерпением ждали какого-нибудь поезда, который нас подберет и увезет неизвестно куда, лишь бы подальше отсюда.

Наконец поздно ночью прибыл длинный товарный состав, и тут же было объявлено, что он немедленно отправляется. Немцы близко.

В тревожном мраке поднялась невообразимая суматоха. Люди бросились к вагонам, лезли кто куда мог. Меня с двумя детьми мужу удалось втиснуть в один из самых крайних вагонов. Тем временем поезд без предупреждения тронулся и сразу пошел полным ходом. Муж вскочил в другой вагон. Я надеялась, что в дороге, в более спокойном месте, он сможет перейти к нам. Но в полночь, когда все сидя задремали, раздался гул взрыва, послышались скрежет железа, вой и крики. Продолжалось это довольно долго, казалось, что конца не будет этому кошмару, и когда все стихло, мы почувствовали, что не двигаемся. Приоткрыли дверь теплуш-

ки — и о ужас! Один-единственный наш вагон сиротливо стоял на рельсах посреди ночной степи. Рядом с ним, жутко освещая мглу, горел соседний вагон с каким-то грузом. Куда же девался весь состав? Оказалось, во время бомбежки ему удалось оторваться от горящего вагона и уйти из-под обстрела. Оглушенные и вконец растерянные, мы сидели в теплушке. Время от времени раздавался плач проснувшегося ребенка. Мы пытались утешить друг друга, что какой-нибудь поезд все же нас нагонит и подберет. Но на рассвете к нам подошел человек в железнодорожной фуражке и залосненном пиджаке. Он сообщил нам «радостную» весть: немцы уже здесь!..

— Из вагона уходите, да поскорей, — посоветовал он.

Я в спешке разбудила моего старшенького — Зелика, взяла на руки четырехлетнего Бореньку и вместе со всеми вышла из нагретой теплушки в холодную осеннюю степь. Это был какой-то глухой полустанок, где поезда весьма редко останавливались. Ветерок тихо шелестел в тополях возле одного-единственного железнодорожного красного здания. Ко мне подошел мальчик лет четырнадцати-пятнадцати с рыженьким задорным хохолком. Его тоже мать втиснула в наш вагон, самой удалось залезть в другой. Мальчик остался один, но держался твердо, как мужчина.

— Тетя, — обратился он ко мне, — можно мне пойти с вами? Я вам помогу.

Сами понимаете, мне было не до смеху, но не могла не улыбнуться: «Помощник!»

— Да, да, — ответила я, — пойдешь с нами.

«Но куда пойти? — сокрушенно размышляла я. — Куда?»

Во все стороны, насколько хватал глаз, простиралась голая, серая степь. Железнодорожник стоял над душой и мрачно торопил:

— Люди, убирайтесь отсюда, если хотите жить. Исчезайте. Залезайте в щели. Тут вас немцы уничтожат...

«Куда исчезнуть? Куда залезть в этой голой, чужой степи?»

Нашелся один пожилой еврей, который стал всех уверять, что не так страшен черт, как его малюют. Что немцев нечего бояться... Что он их знает еще с той войны, когда был у них в плену: не бог весть какие добряки, однако — люди. Его не стали слушать. Кто-то предложил добраться до ближайшего местечка, где у него были знакомые и родственники, и что будет там со всеми, то и с ними. Многие так и сделали — пошли за ним (там уже было гетто). Некоторые семьи, чтобы не привлечь к себе внимания, разбрелись каждая в свою сторону и исчезли, словно растаяли. Я вдруг почувствовала в себе какую-то бешеную энергию, желание куда-то идти, что-то делать, хотя прекрасно понимала, что все это сейчас впустую. Раз кругом немцы, так один конец! Все же я решила попытаться счастья — зайти в какую-нибудь деревню. Зяма — так звали осиротевшего мальчика — взял мой небольшой чемодан, Зелик взвалил себе на плечи узелок, я взяла Бореньку на руки, и мы пошли по стерне, вздымая легкую пыль, которая вскоре густо покрыла наши лица и одежду. Боренька проснулся и попросил есть, но у меня ничего не было — сумка с едой, которую я приготовила дома, как и другие вещи, в суматохе остались у мужа. Я пообещала Бореньке, что как только приедем домой, сразу накормлю его. Заспанными глазками он недовольно огляделся кругом и снова задремал. Я шла с замирающим сердцем и думала о том, что, может быть, настал наш последний день: в степи умрем с голоду, а в селе нас убьют немцы или полицаи... Меня не переставала мучить мысль о постигшем нас несчастье, надо же было именно нашему вагону остаться в степи!..

До селений, выступавших на горизонте, было еще не близко, и мы несколько раз устраивали привалы — садились на стерню отдыхать. Со страхом я глядела на далекие хатки, окруженные садами, на белую церковь, возвышавшуюся над ними. Что ждет нас там?

Село встретило нас мертвой тишиной и безлюдьем. У плетня крайней хаты под красной черепицей стоял высокий мужчина с угрюмым видом, в черной жилетке и зеленой рубаше поверх штанов. В руках держал вилы. Он каждого из нас проводил ошупывающим, цепким взглядом, подольше настороженно остановился на еврейском личике Зелика. Обратиться к тому человеку у меня почему-то не хватило духу. Мы побрели дальше. Не могу сейчас объяснить, почему я миновала ряд домов, не постучалась в их двери. Но вот наконец решилась. Одна дверь, другая, третья... Меня выслушивали кто испуганно, кто хмуро, а кто и явно враждебно, стараясь скорей избавиться от нас. В дом не пускали. Одна старушечка вынесла мне большую краюху свежеспеченного хлеба, жалостливо поглядывая на детей.

— Дитоньки, — причитывала она, — малыньки... Воны тут. Тут воны, антихристы! Выходьте скорейше из села. Тамочки на плетнях вывешена объява...

На воротах и плетнях были вывешены объявления на украинском языке, в которых угрожали смертной казнью тому, у кого найдут евреев или цыган.

— Здесь всюду шастают полицаи, хвороба на них! — шептала она. — Идите вон через тот переулочек. Никто вас не увидит.

Я разделила детям краюху хлеба. Самой кусок не лез в горло. В переулочке, который указала нам старушка, стояло несколько хаток, за дворами которых тут же начиналась бескрайняя степь.

Мы остановились возле одной такой хаты с приветливыми кремовыми занавесочками на окнах. Под ними круглые грядки с большими прекрасными георги-

нами. На штакетнике домовито сушились горшки и макитры.

Должно быть, нас заметили в окно, и вскоре в дверях показалась босоногая женщина лет тридцати — тридцати двух в красном ситцевом сарафане. Лицо у нее было очень приятное. Светлые волосы уложены на затылке калачиком. Она так же, как и все тут, тревожно оглянулась по сторонам. Уличка была пустынна. Женщина вопрошающе посмотрела на нас.

Я рассказала ей, что с нами произошло. Мое отчаянное положение придало мне безрассудную смелость, и напористость, и эгоизм — я ведь знала, что грозит этой женщине, если у нее обнаружат нас, — и попросила приютить меня с детьми хотя бы на короткое время, пока мы найдем другое убежище. Женщина задумчиво смотрела на нас своими большими серыми глазами. Она тоже задержала взгляд на запыленном личике Зелика, на его носике с подозрительной горбинкой — беда с ним! Сама я при желании могла сойти за украинскую бабу-колхозницу, Зяма и Боренька — тоже за украинских хлопчиков, но Зелик!..

— Зайдем до хаты, — тихо вымолвила она.

Пропустив нас в полутемные сени, полные сладких запахов дынь и яблок, она беспокойно оглянулась через плечо и заложила дверь щеколдой. Мы увидели небольшую кухню со свежeweбеленной печкой. Затем женщина ввела нас в комнату побольше, где за столом сидела девочка лет тринадцати или немногим больше. То была ее дочь Ксана.

— На короткое время, говоришь? — Женщина подняла на меня глаза. — Ну, а потом куда с ребятами денешься? Кругом немцы, полицаи...

Я стояла, опустив голову. Сердце громко стучало. Видно было, и отсюда придется убраться, умирать с детьми где-нибудь в степи. Но я все же ждала чуда, и чудо свершилось. Милая, золотая моя Одарка! Многих

тебе лет счастливой жизни! Если существуют ангелы, то ты один из них. Она даже не спросила, кто мы (позже призналась, что сразу поняла, с кем имеет дело).

— Вот этого, — после довольно долгого молчания, думая о чем-то, она указала на Зелика, — нужно сейчас же спрятать, чтобы ни одна живая душа его не видела...

Я не поверила ушам: неужели при всей моей беде мне еще повезло? Родная сестра не сделала бы, возможно, этого. Кто мы ей!

— Дай тебе бог счастья, добрая женщина! — вырвалось у меня из глубины сердца.

Женщина печально покачала головой.

— С богом почекай. Ще необходимо пережить це лихо-летье...

Она оставила нас у себя. Это была Одарка Штименко, или, как дети ее сразу стали называть, «тетя Одарка». Она жила с дочуркой Ксаной. Муж Одарки, тракторист Василь Штименко, с первых дней войны ушел на фронт. На одной из многочисленных фотографий под вышитыми рушниками на стене я увидела его, еще довольно молодого красивого парубка с улыбающимися глазами и непокорным чубом.

С того дня в доме Одарки началась настороженная жизнь. Мы ходили, как говорится, на цыпочках, прислушиваясь ко всякому подозрительному шороху, к каждому стуку в дверь. Зелика Одарка спрятала в задней каморке и строго-настрого запретила ему показываться в хате, когда появлялся кто-либо чужой. Девятилетнему мальчику первое время даже нравилось, что он такая важная персона, что только его одного прячут. Правда, скоро ему наскучило целыми днями сидеть в одиночестве в полутемном чуланчике, когда остальные дети были во дворе или на огороде. Но и до него дошла постоянная гнетущая атмосфера в доме, и он безро-

потно прятался в своем тайничке, редко показываясь в комнатах...

Я, в старых сапогах Василя, которые Одарка сняла с чердака, в выцветшем черном платке, низко опущенном по-старушечьи на лоб, тоже старалась остаться незамеченной соседями в переулке. Староста гонял колхозников на уборку урожая. Ходила туда и Одарка, а я оставалась дома хозяйничать, работать на огороде — единственном кормильце нашей не маленькой семейки. Хватало там работы и для Одарки, когда та приходила с поля.

В деревне, однако, тайн нет. Вскоре разнесся слух, что у солдатки Одарки Штименко видели какую-то чужую женщину с детьми. Нашелся и такой, что донес об этом старосте или полиции. Одарка позже узнала, кто донес. Это был благостный старикашка из баптистов, всегда ходивший в белоснежной льняной рубашечке, смотревший на всех с умиленной улыбочкой, со слезинкой в маленьких добреньких глазках, пересыпавший свою речь словами из писания!

И вот в один прекрасный день к Одарке пожаловали «гости». Счастье, что Зелик вовремя услышал топот сапог на крыльце и сразу юркнул в свой чуланчик. Ксана и Зяма сидели за столом, заглядывая в какую-то книжку, а Боренька играл на полу ворохом сухих кукурузных початков. Вошел высокий смуглый мужчина, одетый по-городскому, за ним двое помоложе, в синих куртках с белыми нашивками на рукавах. У меня оборвалось сердце. Конец! Мной овладела одна мысль: только не выказать страха, замешательства!

Смуглый смерил меня любопытным взглядом. Я была тогда чуть моложе Одарки, но вид мой в черном платке, старенькой ситцевой юбке и мужских кирзовых сапожищах, наверно, не особенно привлекал. Мужчина стал расспрашивать меня по-русски, кто я такая и как попала сюда в такое время. Я отвечала по-украински,

как могла спокойно, что сама я колхозница из Черниговской области, гостила с детьми у родственников. По дороге домой поезд наш попал под бомбежку. Чтобы не умереть с голоду с детьми, зашла в это село и попросилась приютить меня на некоторое время, пока смогу добраться до дома. Дом где? Пока за линией фронта. Документы? Вместе с вещами пропали в суматохе, когда бомбили. Остались, как видите, голы и босы. Спасибо, добрые люди пожалели...

— Бери своих байстрюков, — сказал один из полицаев, — сейчас разберемся, кто вы такие.

А Одарке через плечо:

— А ты, кума-сука, тоже получишь свое.

Я не смела поднять глаза на растерянную Одарку. «Наверно, проклинает меня за то, что погубила и ее жизнь (но я не знала Одарку!). Я взяла Бореньку на руки. Зяму один из полицаев рванул за шиворот и вытащил из-за стола: «Жиденя!» И нас повели по пустынной улице к бывшему сельсовету. Меня охватила какая-то опустошенность, тупое равнодушие ко всему, что будет с нами.

В небольшой комнате, куда нас ввели, за длинным столом сидел фельдшер, пожилой мужчина с очень важным, докторским видом. У него была большая желтая лысина и крупные оспинки на широких скулах и толстом носу. Один из полицаев ослабил:

— Ну-ка, Трофим, поглянь у цых байстрюков, чи вони дисно жиденята, чи ни.

Мне велели снять с Бореньки штанишки, и фельдшер, посадив на нос пенсне, глубокомысленно стал разглядывать ребенка.

— Як що по цьому признаку... — он выразился более откровенно, — то не жиденя.

Зяма со слезами на глазах стал отбиваться, но ему дали несколько чувствительных подзатыльников и тоже осмотрели.

— И другой — ни.

— Бис их знае, — проговорил смуглый. — Балакают украинской мовою, як украинцы. Насобачились, проклятые!

Он все еще недоверчиво вглядывался в наши лица, и вдруг у него мелькнула хитрая улыбка: вот-де я вас сейчас подловлю! Он нагнулся к Бореньке, стоявшему возле меня без штанишек, держа меня за руку, и погладил его по головке.

— Кажить мини, хлопчику, ты не жиденя?

Боренька поднял на него ясные глазки и одарил его одной из своих милейших улыбочек.

— Ни, дяленько! — К счастью, он не знал, что означает это слово.

Тут в комнату, запыхавшись, вбежала растрепанная, распаленная, со сбитым на затылок платком Одарка.

— Чи вы сдурили! — кричала она. — Яки оны жида? Це ж украинка, колгоспница, а ии диты украински хлопчики.

Смуглый еще раз стал особенно внимательно разглядывать наши лица, надеясь во что бы то ни стало установить истину, но, пожав плечами, произнес:

— А мабуть, и не жида, лях их знае! Не буде же баба из-за жидовки совать голову в петлю...

Для порядка нас продержали еще немного и выставляли за дверь... И хотя из полиции мы вышли с некоторым правом на жизнь, Одарка все же повела нас домой задворками, чтобы не слишком бросаться всем в глаза. Заплаканная Ксана очень обрадовалась, увидев нас, особенно Зяму. За это время они крепко сдружились: вместе работали на огороде, вместе пасли корову на лужайке за двором, вместе читали книжки. Зелик, тоже весь в слезах, выбежал из своего убежища и бросился мне на шею. Одарка рассказывала, что он хотел было бежать вслед за нами и с большим трудом ей удалось удержать его. Это нас спасло.

Я все думаю: какую высокую душу, какое большое сердце, сколько мужества и благородства должен иметь человек, чтобы сделать для совершенно чужих людей в то страшное время то, что сделала для нас Одарка! Чем могу ей отплатить? Разве только моей вечной любовью к ней, на всю жизнь!

Около четырех лет жила я с детьми у Одарки. Ели, как говорится, из одной тарелки. Было у нас немало тревожных дней и ночей, когда жизнь висела на волоске. Нас еще не раз водили в полицию, где разные «комиссии» из волости района и даже из города дотошно устанавливали, кто мы такие. Но, к счастью, обошлось. Все пережили и дожили. Вернулись наши. Я стала наводить справки о муже и вскоре получила от него весточку, что жив он, здоров, был на фронте, затем служил на Дальнем Востоке, где решил остаться после демобилизации.

И вот уже тридцать лет живем в Биробиджане. Здесь выросли Зелик и Борис. Зелик — врач, Борис — мастер на заводе. Зяма, к концу войны уже повзрослевший паренек, искал мать, но так и не нашел и остался у Одарки. Через несколько лет получила от него письмо, что женился на Ксане, живет в Одессе и работает на заводе.

С Одаркой я не виделась все эти годы, но до сих пор помню ее — высокую, тонкую, с большими серыми милыми глазами. Все эти годы писала ей длинные письма о каждом событии в моей жизни и жизни детей — Зелика и Бориса. Одарка не менее подробно, на деревенский лад, отвечала и писала о своей жизни и жизни Ксаны, о Зяме, о внуках. Каждый год неизменно присылает крупный украинский лук, груши и яблоки из своего сада, виноград и клубничное варенье собственного изготовления. Борис и Зелик, как только подросли и стали зарабатывать, аккуратно высылают ей деньги и дальневосточную рыбу, которая очень нра-

вится Одарке. Деньги Одарка строго-настрого запретила высылать, но хлопцы ее не слушают, посылают. Так что связаны мы с нею многие годы нашей жизни, но, к сожалению, только через письма. И потому сами понимаете, как обрадовалась я, узнав, что она едет к нам в Биробиджан. Майя и Борис сразу взялись белить и красить комнаты, что вызвало недоумение у соседей: совсем недавно у нас делали капитальный ремонт.

— Опять побелка?

Майя, ловко орудуя кистью, весело кричит им с козел:

— Ждем дорогую гостью!

Борис со щеткой в руках добавляет:

— Ждем нашу тетю Одарку.

А я говорю:

— Сестру...



седьмом «б» классе сегодня не было последнего урока — пения. Марик порадовался неожиданному свободному часу: не надо будет идти распевать там с девочками! Он взял портфель и пошел домой. В скверике, что возле новой аптеки, он встретил приятеля Леню Брика.

— Мар! — крикнул тот. — Идешь на «Графа Монте-Кристо»?

Марик пошарил рукой в кармане куртки.

— Погоди, посмотрю, как у меня с монетой.

— Быстрей! — торопил его Леня. — Надо еще билеты достать. Представляешь, что там будет, у кассы!

Взяв у Марика деньги, долговязый рыжий Леня метнулся в ворота проходного двора и исчез, а Марик зашагал дальше по широкой улице вдоль набережной. Над крышами высоких белокаменных домов сияло весеннее солнце. Настроение у Марика было приподнятое, и домой он пошел, мурлыча под нос какой-то воинственный марш.

— Ма! Обедать скорей! Бегу в кино — «Граф Монте-Кристо»!

Сидя за столом на кухне, Марик вдруг услышал знакомый булькающий кашель, будто кто-то резиновым пузырем стучал по чему-то твердому. Марик положил ложку и настороженно покосился на соседнюю дверь. «Так и есть, — подумал он, — у старика начинается...»

В соседнюю комнатушку старик вселился еще прошлой осенью. Он был исхудалый, щуплый, с лицом будто из бледно-серой глины. Привез он с собой несколько ящиков с книгами и небольшой красный чемодан, к которому ремнями были прикреплены подушка и серое байковое одеяло.

С той поры оттуда, из комнатушки, целыми днями доносился надрывный кашель со страшным хрипом. Марику казалось, вот-вот у старика разорвется грудь.

Почти каждый день, а часто и по несколько раз, к ним во двор въезжала машина «скорой помощи», и в доме все знали: это к новому жильцу-пенсионеру.

Вернувшись однажды из школы, Марик увидел старика на пороге комнатушки. Он стоял, зябко поеживаясь.

— Молодой человек, — услышал Марик его слабый голос, — будь добр, сходи, пожалуйста, с этими рецептами в аптеку.

Мальчик тут же сбегал и принес ворох лекарств: пузырьки с мутно-зеленоватой жидкостью, порошки, красные плоские коробочки.

Старик лежал на низкой железной кровати, под байковым одеялом. На столике у окна Марик увидел какую-то штуку, похожую на подушку, с резиновой трубкой и черным наконечником из пластмассы. Марик не прочь был взять в руки эту любопытную штуковину и осмотреть ее более основательно, но постеснялся. Он постоял в нерешительности посреди комнаты, посмотрел на пожелтевшую газету, которой было занавешено единственное окно, и его охватило чувство щемящей жалости к одиному больному старику.

— Дедушка, может, вам еще чего надо?

Старик с улыбкой посмотрел на него из-под густых седых бровей.

— Нет, больше ничего не надо. Ты славный парень!

Понемногу Марик стал в этой комнатушке своим человеком. Придя из школы, он перво-наперво заходил посмотреть на старика. Затем принимался за такие дела, какие у себя дома делал крайне редко и очень неохотно: подметал пол, ходил в магазин купить что-нибудь для старика, а когда тому становилось плохо, бегал в соседний подъезд, где был телефон, вызывать «скорую».

Время от времени старика на несколько недель увозили в больницу. Тогда Марик приставал к матери, чтобы она готовила дедушке передачи, и сам носил их ему. Старик говаривал соседям по палате: «Вот идет мой юный друг!» Те тоже, завидя Марика, оповещали старика: «Идет ваш юный друг!» Марик краснел, торопливо клал передачу на тумбочку возле его кровати, стараясь скорей улизнуть.

Сосед возвращался из больницы, и через несколько дней снова начинались приступы астмы и — «скорая».

Однажды Марик присутствовал при разговоре медсестры с его матерью.

— Такому больному важно немедленно оказать помощь. Хорошо бы кому-нибудь из вашего дома научиться делать уколы. Это совсем не сложно.

Марик поднял глаза на мать. Вот она скажет: «Я!» Но она почему-то промолчала. Марик был вне себя. Отказаться от такого интересного дела! Предложили бы ему!..

Когда девушка уходила, Марик побежал за ней и окликнул ее.

— Скажите! — Он умоляюще заглянул ей в глаза. — А я бы мог этому научиться?

— Чему? — не поняла медсестра, но тут же улыбнулась: мальчуган подслушал ее разговор с его матерью. — Но ты ведь еще мал. — Она с любопытством разглядывала невысокого, худощавого парнишку с добрыми кривыми глазами. — Будь ты немного постарше...

— Как мал! — вскричал Марик. — Почти четырнадцать. Мал!

— На самом деле не маленький. Ну, а руки моешь? — спросила она, улыбаясь. — Только честно?

Марик обиженно молчал. Стоит ли продолжать разговор? Но медсестра положила ему на плечо руку и неожиданно сказала:

— Что ж, попробуем.

Мама была немало изумлена, как Марик ни с того ни с сего днем старательно стал мыть руки, лицо, шею, тереть пемзой ногти, надел даже чистую куртку.

— В гости, что ли, собираешься?

Марик сделал вид, что не расслышал. В таком деле лучше поменьше распространяться, а то могут и напортить... Он с нетерпением ждал медсестру. За это время он еще несколько раз мыл руки. Наконец под вечер она появилась.

— О, — воскликнула она, — сияешь сегодня, как новенький пятак! Ну, давай, давай учись!

«Стажировался» Марик несколько дней и вот смирающим сердцем взялся делать старику свой первый самостоятельный укол. «Смелей! Смелей!» — подбадривала его медсестра. Серовато-бледная кожа больного была тонка и дрябла. Марик не ожидал, что игла так легко войдет. Ему казалось, что он возится целую вечность, и не верилось, что все так быстро и буднично кончилось, и вот он стоит с пустым шприцем, и старик дружелюбно улыбается ему:

— Молодец, парень!

— Не очень больно было, дедушка?

— Ни капельки.

Медсестра торжественно заявила матери:

— Теперь у вас собственный медработник. Для вашего соседа это сущая находка.

Мама слушала это, видимо, не без удовольствия,

но с напускным пренебрежением покачала головой: «Медработник!»

С того дня, как только у старика начинался приступ, Марик был уже начеку. С важной миной человека, знающего, что надо делать в таких случаях, он входил и начинал священнодействовать. Осторожными движениями брал шприц, подаренный ему медсестрой, озабоченно наморщив лоб, осматривал его, затем ставил кипятить. Из ящика стола вынимал ампулу... Старик громко выражал свое восхищение:

— Вот будущий врачеватель! Вот у кого призвание! Вот у кого золотые руки! Он это делает лучше медсестры, не в обиду ей будь сказано.

...Сидя сейчас на кухне за обедом, Марик мучительно думал: что делать? Как он мог забыть! Как раз в это время у старика начинается приступ, а он, Марик, будет в кино!

Без всякой охоты он снова взял ложку. Надо торопиться. Леня, наверно, уже ждет с билетами... Кое-как пообедав, Марик нерешительно вышел на улицу и побрел к кинотеатру. На душе у него было ох как плохо!словно он совершал предательство. Но не пойти на эту картину — об этом не могло быть и речи. «Граф Монте-Кристо» не каждый день показывают!

В садике напротив кинотеатра ждал его Леня.

— Что такой кислый? — спросил он.

— Не говори, — обреченно махнул рукой Марик.

— А в чем дело?

Марик нехотя рассказал ему про старика.

Леня слушал его рассеянно.

— И это все? — равнодушно произнес он. — Обойдутся как-нибудь без тебя. Тоже мне доктор!

— Пойми, придется вызывать «скорую».

— Ну и вызовут. Пошли. Пускают уже.

В эту минуту задребезжал звонок. Леня рванулся к входу, увлекая за собой в самую гущу толпы Марика.

«Ну вот, — с облегчением вздохнул Марик, очутившись в зале, — теперь уже нечего грызть себя. Теперь всё...» Как-нибудь обойдутся на этот раз без него...

Начался фильм, и вскоре он позабыл обо всем на свете. Вместе с пестрой матросской толпой Марик толкался в шумном порту Марселя, встречая величавый парусный корабль, которым прибыл Дантес.

Однако несколько минут спустя мысли Марика снова вернулись к старику. Он живо представил себе, как лицо его начинает наливаться бледной синевой, как широко разинутым ртом он хватает воздух, задыхается. Марик пытался мысленно перед кем-то оправдываться: ну, скажите сами, может он торчать все время со шприцем возле него? Но тот, перед кем он, Марик, оправдывался, отвечал: «Кто требует от тебя все время? Сам знаешь, когда ему становится плохо...»

Леня, увлеченный тем, что происходило на экране, недовольно толкнул его локтем:

— Ну, что ерзаешь? Дай посмотреть!

Марик тоже затаив дыхание глядел на экран, но ему не давала покоя мысль, что маме вот-вот придется бежать во второй подъезд, вызывать «скорую». А «скорая» пока приедет... Он вспомнил грустные, измученные глаза старика и вдруг, неожиданно для самого себя, сорвался с места и, пригнув к коленям голову, быстро пробежал между рядами стульев, и только у самых дверей выпрямился, тоскливо кинул последний взгляд на далекий уже экран, где начиналось самое захватывающее, и вышел.

На улице его обдул свежий ветерок, осушил вспотевшее лицо. Марик бегом пустился домой через ближайшие дворы. Он был полон зависти к Лене, который досматривает картину и полностью насладится своей мальчишеской беззаботной жизнью, но в то же время Марик твердо знал, что по-другому он поступить не может. Он должен бежать к старику. Должен — и все!



соседей Лии Лишецкой давно и твердо было решено: дело идет к свадьбе. А то, что Лия еще фордыбачит, напускает на себя неприступный вид, когда заговаривает о Вольфгаче, так это, известное дело, бабья игра! В самом деле, чем плох для нее Вольфгач?

Со своей стороны заметим, что в словах соседей был свой резон: оба они, Вольфгач и Лия, прибыли сюда одним и тем же переселенческим эшелоном и даже в одном и том же вагоне. Она одинокая, вдова, он вдовец. Оба они в том возрасте, когда человек уже не молод, но и стариком не назовешь. А главное — Вольфгач с первых же дней пути заприметил эту рослую, крупную женщину с таким приятным, добродушным лицом и спокойными, чуть-чуть медлительными движениями.

На полустанках и глухих разъездах, где поезд подолгу задерживался, переселенцы высыпали из душных и пыльных вагонов для разминки. Парни и девушки беспечно устремлялись в ближние перелески, и среди них можно было видеть необычайно оживленную, юркую фигуру маленького Вольфгача в полувоенном кителе рядом со степенно шагающей Лией. И вот на одном таком полустанке Вольфгач отвел Лию подальше от чужого любопытного уха и решил «позондировать почву».

— Как видите, товарищ Лишецкая, — многозначительно начал он издали, поглядывая на обтёрханный носок своего сапога, — я, к сожалению, уже не первой

молодости. Кое-что пришлось повидать в жизни... Но, как говорится, порох еще есть... И там, на новом месте, все же подумываю насчет устройства личной жизни... Ну, а вы, товарищ Лишецкая, конечно, тем более?..

Лия молчала. То есть, если хотите, не совсем молчала. Усмехалась своими несколько навывкате чудесными серыми глазами, крупными белыми зубами жевала какую-то былинку. Поди догадайся, что означали эта загадочная улыбка и это жевание!..

Вместо ответа Лия сама задала ему вопрос:

— Как вы думаете, товарищ Вольфгач, там, на новом месте, моя специальность может пригодиться?

— Зависит, какая специальность.

— Ну, скажем, производство решет и сит...

Вольфгач никогда в жизни на Дальнем Востоке не бывал, но прослыл у переселенцев большим знатоком и патриотом этого края. Он без конца рассказывал своим спутникам об огромных его богатствах, о его золоте и серебре, о сохатых, о медведях и тиграх...

— Решета и сита? — Вольфгач глубокомысленно наморщил лоб. — Что ж, специальность как специальность... Ну, а если даже в данное время такая отрасль там не совсем развита, тоже не беда. Можно будет создать такое производство. Раз люди пекут хлеб, стало быть, без сита и решета не обойтись. К тому же, — это было сказано с определенным намеком, — если еще у дела станет опытный, энергичный и толковый хозяйственник, организатор...

И тут Лия узнала, что сам Вольфгач торговый работник. Особенно крупных должностей не занимал, но и ниже завмага тоже не опускался. Там, на новом месте, он надеется пойти на какую-нибудь руководящую хозяйственную работу.

Так уж случилось, в городе, куда прибыл эшелон переселенцев, Вольфгач и Лия устроились на одном и том же предприятии — на лесозаводе. Он — завскладом, а она,

Лия, поскольку в тот момент особенного спроса на ее сита и решета не оказалось, пошла работать станочницей в один из деревообрабатывающих цехов. Правда, в тридцать восемь лет нелегко начать все с азов. Но так как руки у нее были крепкие, сноровистые, умевшие не хуже мужских справляться с молотком и топором, то дела сразу пошли хорошо. С каждым днем возле ее «универсальки» все выше и выше стали громоздиться штабеля брусков, рам для ульев и других столярных деталей, которые она изготовляла. Комнатенку Вольфгач получил в том же доме, что и Лия, и по вечерам под разными предлогами стал заходить к ней. Чаще всего у него не оказывалось спичек, а иногда теплой воды, чтобы побриться. Человек, не про вас будь сказано, живет холостяком, одиноким горемыкой, без хозяйки...

Закурив, Вольфгач присаживался к столу и заводил разговор:

— Ну, Лия, шагаете, так сказать, крупно, как я вижу...

— Ничего, Вольфгач, помаленьку.

— Я это к тому, что вы, Лия, не сглазить бы, такой шаг взяли, что и не догнать вас...

Однажды, посидев так некоторое время, приглядываясь рассеяннo, как Лия занимается своим рукодельем, Вольфгач обратился к ней напрямик:

— Скажите, Лия, у вас, разумеется, как бы вам сказать, есть какая-то своя идея в жизни? Э-э-э, это я к тому... Мне хотелось бы знать, каково ваше настоящее стремление в жизни, так сказать... идеал!

Лия уже успела привыкнуть к тому, что Вольфгач любит вернуть в обыкновенный, житейский разговор высокопарное словечко, и это ей даже нравилось.

— Что за вопрос? Конечно, есть, — сказала она. — Как у всех: работать так, чтобы от людей почет, ну, и, само собой, жить хорошо, не хуже людей...

— Мда-а-а... Это так, — согласился Вольфгач, задум-

чиво водя пальцем по скатерти. — К хорошей жизни стремится каждый человек, это вы правы, Лия, но...

Вольфгач потом сидел еще довольно долго. Забыл, что пришел за огнем, и вынул новый коробок спичек, закурил.

Лия хорошо понимала, куда клонит Вольфгач. Понимали это и соседи. Вот на днях работница из того же цеха, в котором работала Лия, надела на нее:

— Не видите? Разжевать вам надо? Это, конечно, ваше личное дело. Но опять-таки... Человек он стоящий. Не промах. Но что? Немного ниже ростом! Вы вон, слава богу, вымахали до самой крыши, а он — чуть пониже. Подумаешь! Кто в вашем возрасте придает значение таким пустякам? Главное ведь человек!..

Долго бы еще соседка расписывала качества Вольфгача, если бы Лия не посмотрела на нее своими задумчивыми серыми глазами и не расхохоталась. Тут и соседка приостановила поток слов и тоже стала смеяться. И то сказать — как не смеяться, когда занимаешься таким веселым занятием, как сватовство...

Кто знает, сколько еще бы тянулось такое мучительно неопределенное состояние, кабы не тот кедр!

Однажды на лесозаводе было созвано общее собрание рабочих и служащих. Директор сделал трехчасовой доклад. Начав с важнейших событий международной жизни, он затем весьма ловко перешел к выполнению цехами плана, к дальнейшим перспективам завода, к большому плану предстоящего строительства, к огромному количеству леса и древесины, которые потребуются заводу уже в нынешнем году. Приедут новоселы — их надо будет обеспечить квартирами и топливом на зиму.

Вольфгач сидел на одной из передних скамеек, чтобы быть на виду, стараясь не пропустить ни одного слова из доклада. Он полностью одобрял мысли директора. Действительно, такое строительство, такая прорва лесу требуется. Тут уже придется поднатужиться!..

Однако когда среди тех, кто должен был отправиться на лесозаготовки, назвали и его фамилию, самолюбие его весьма было задето. Как? И его? Вместе со всеми там разнорабочими?!

Но на следующее утро Вольфгач увидел среди едущих на лесозаготовки также и Лию. Она была одета как заправский лесоруб. В подпоясанной телогрейке и в мужских кирзовых сапогах, бодрая, деловитая, со спокойными, уверенными движениями человека, знающего, что ему надо делать.

Вольфгач широко заулыбался. Он уже рад был, что так получилось. Значит, вместе с Лией! Вот так здорово! Там, в лесу, будет больше случаев встречаться с глазу на глаз и более капитально поговорить о том, о чем в городе то ли по ее, то ли по его вине дальше туманных намеков не шло. В тайге, надеялся он, будет больше возможностей доказать Лие, что с ним, с Вольфгачем, не пропадешь, что на него можно положиться, как на каменную стену...

Вольфгач первым прыгнул в кузов грузовика и на этом основании сразу присвоил себе функции распорядителя. Он стоял посредине кузова, широко раздвинув ноги, руки в боки, таким бригадиром-молодчагой, сыпал остротами, давал советы налево и направо. Во все вмешивался, снисходительно посмеивался над теми, кто впервые в жизни выезжал в тайгу на лесозаготовки.

На лесопункте тоже так получилось, что Вольфгачу и Лии на пару выдали одну пилу и два топора. Между нами: самолюбие Вольфгача и тут было сильно уязвлено. Он был уверен, что, как заведующий складом большого завода, опытный хозяйственник и организатор, он займет место среди тех, кто замеряет и принимает готовую работу. Для этого он на всякий случай перед отъездом сюда сунул за голенище складной метр, оставив на виду только маленький кончик его. Но оказалось, что приемщиков хватает и без него. Что касается Лии, то когда ей пред-

ложили остаться в бараке стряпухой, она категорически отказалась: на лесоповал, и только на лесоповал!

На деяне к ним подошел высокий парень мрачнова- того вида, в черной маленькой кепке и в кожаной куртке с «молниями». Некоторое время он испытующе пригля- дывался к этой паре вальщиков, как бы взвешивая их возможности. Опасения у него как раз вызвала не жен- щина, а хлипкий на вид, щупленький мужчина. «Но, — пожал плечами парень, — видали мы и таких щуплень- ких, которым на вид цена-то копейка, а в работе — ого-го!» Парень тут же выбрал дерево, не слишком тол- стое, но и не слишком тонкое. Несколькими сильными ударами топора вырубил он внизу, у комля, желобок, за- тем, взяв пилу, подозвал мужчину.

— Вот видите, — начал он, — когда валят дерево...

— Знаем, знаем, — оборвал его Вольфгач, — знаем, как это делается. Не первый год замужем!

Все это говорилось ради Лии. Вольфгачу хотелось предстать перед нею здесь, в тайге, ловким парнем, ма- стером на все руки, у которого любая работа спорится. А Лия? Скажите пожалуйста! Такою он ее еще никогда не видел. Губы сжались, лицо посуровело. Не глядя на Вольфгача, она легонько его отстранила и сама взялась за пилу.

— Вы, товарищ Вольфгач, знаете, ну и хорошо. А я — нет. Мне, товарищ, объясните, пожалуйста, что и как.

Мрачноватый парень ухмыльнулся и начал пилить с Лией дерево. Вольфгач стоял, смущенно нахохливший- ся, слушая, как звонко и легко вжикает у них пила, и на душе у него было нехорошо.

— Порядок! — крикнул парень Лии, когда дерево было свалено. — Хватка есть! Пила идет!

Кому из нас не нравится, когда хвалят его работу, его способности! Похвала, товарищи, окрыляет! Похвалишь человека — и он творит чудеса! Услышав от парня, что

пила у нее идет, Лия прямо-таки расцвела. Она снова стала прежней славной, милой Лией.

— А теперь, Вольфгач, для начала — вон то деревце.

Вольфгач глянул на «то деревце», на которое указывала Лия, и в глазах у него потемнело. Представьте великан кедр, чей могучий ствол и пятерым крупнокалиберным мужчинам не охватить руками... Для того чтобы свалить его таким «лесорубам», как он с Лией, придется пилить с утра до вечера, прихватить еще кусок ночи, и то не управятся! Вольфгач попытался было мягко отговорить Лию от такого безрассудства, привлечь ее внимание к более подходящему дереву. Сперва-де набить руку, а потом — пожалуйста. Ему-то, собственно, все равно, что то, что это дерево, — он заботится о ней. Но, увидев, какими горящими глазами Лия смотрит на красавца великана, он уныло замолчал, боясь уронить свое мужское достоинство. А она, Лия, как назло, подзадоривала:

— Я говорю, Вольфгач, несколько таких кедрачей — и вот вам наша норма!

Ох, друзья мои! Нелегко, нелегко пришлось Вольфгачу. Он, правда, лихо отгреб кепку к затылку, энергично, как бывалый лесоруб, поплевал себе в ладони, но... пила у него с первого же рывка странно как-то изогнулась змеей и никак не хотела двигаться.

Он то со слепой яростью быстро-быстро дергал пилу, то судорожно лишь держался за ручку, и Лии приходилось водить пилу и за себя, и за него. От непривычки у Вольфгача закружилась голова. Началось сильное сердцебиение. На лбу выступила противная холодная испарина. И стыдно было ему перед Лией за то, что он такой слабак и неумелый, и преисполнен он был великой зависти к двум молодым лоботрясам, которые неподалеку от них пилили помаленьку тоненькое кривое деревцо. Попилят немного и сядут не спеша, со вкусом закуривать. Снова попилят — и опять курение и отдых. Благодарить! Ох, почему он, Вольфгач, не один из тех счаст-

ливчиков! (А Лия пилит и пилит, пилит и пилит, как заводная! Не остановишь. Откуда у женщины такая сила?) Вольфгач чувствует: еще минута — и рухнет не дерево, а он...

— Стоп! — вдруг услышал он живой голос Лии. — Садитесь, Вольфгач, дайте перевести дух, а то вы крепко сразу взялись. Так вы меня, пожалуй, загноете.

«О милая Лия! Золотая Лия! Здоровья вам и долголетия!» — так хочется Вольфгачу вскричать из самых глубин сердца, но, обессиленный и невероятно счастливый, опускается он прямо на разворошенный муравейник возле дерева и смотрит не мигая на улыбающуюся Лию.

Что за славное лицо! Щеки разругались. Серые глаза разблестались, и выглядит она сейчас намного моложе своих лет, хотя она и так не старуха. А милая ее улыбка! Нет, скорее он околочится у этого чертова дерева, но отставать от Лии — нет и еще раз нет!

А когда Вольфгач пришел немного в себя, он даже пренебрежительно мотнул головой в сторону лоботрясов, все еще мучивших свое тоненькое дерево:

— Работа, а? Вот, полюбуйтесь...

Вольфгач ничего не имел бы против еще так посидеть на нагретой земле возле Лии, но та уже проворно поднялась — и снова за пилу. На лице у нее появилась суровость, даже какая-то неумолимость, которая сразу отдаляла от Вольфгача. С покорной обреченностью, с отчаянием в душе ринулся он в работу, как в ледяную прорубь. И опять началась та же история, пила упорно не хотела двигаться, заедало у самой ручки. Снова сердцебиение и холодная испарина. Но когда ему уже казалось, что он вот-вот упадет в обморок, до его угасающего сознания дошли, будто из иного мира, слова Лии:

— Стоп, Вольфгач! Вы, я вижу, решили с первого раза рекорд поставить?

Вольфгача охватила зеленая тоска. «Рекорд»... Проклятый кедр стоял во всем своем могуществе, как ни в чем не бывало, будто смеялся над их потугами. И только с четвертого захода, когда Вольфгач потерял уже всякую надежду, что дерево когда-нибудь свалится, оно неожиданно мелко задрожало, медленно стало клониться. Вскоре раздался устрашающий треск. Кедр рухнул, взметнув кверху толстый, могучий комель. Вольфгачу почудилось, что сама земля под ним дрогнула. Радостно потрясенный, стоял он, не веря самому себе, что они с Лией уложили такую громадину. Сердце его переполнилось гордостью.

Пока Лия ходила в овраг, к источнику, напиться, Вольфгач присел на поваленное дерево, ветви которого все еще продолжали трепетать. Они были еще полны жизни и солнечного тепла, и Вольфгач вдруг почувствовал прилив сил. Он увидел, как Лия показалась из оврага, высокая, ладная, крепкотелая. Рядом шагал какой-то мужчина. Вольфгач ревниво наблюдал за ними. Вот остановились. Чему-то смеются. Что за гусь такой увязался? Что ему нужно?

Кругом кипела работа. То и дело раздавался задорно-веселый возглас: «Бойся!» — очень полюбившееся новоиспеченным лесорубам словечко, и вслед за ним визгливый скрип и хруст падающего дерева. Солнце уже стояло высоко над голубевшими вершинами деревьев. Где-то накалялся знойный день, а на деляне царила приятная прохлада. Вольфгач большими глотками пил сырой таежный воздух, медово-кислый запах трав, напоминавший ему почему-то дух хорошо упревшей кулаги, которую мать варила по праздникам. Оглядывая окрестный кедряк, тянувшийся по косогору, он почувствовал над ним свою хозяйскую власть. Вольфгач стал подбирать для себя дерево. Это уже будет его дерево, которое он предложит Лии. Взгляд его упал на огромный кедр, стоявший несколько на отлете, лицом к своим собратьям, как бы обращаясь к ним с речью. Широкая крона его купалась

в солнечном сиянии, и похож он был как две капли воды на своего поверженного на землю соседа. Возле него, как бы ища защиты, приютилась хилая, искривленная пихта. У Вольфгача вдруг созрело отчаянное решение...

Когда вернулась Лия, он возбужденным голосом попросил ее присесть на несколько минут, всего лишь на несколько минут. Он должен сказать ей нечто очень важное...

— Может, в другой раз, Вольфгач? — тихо произнесла Лия.

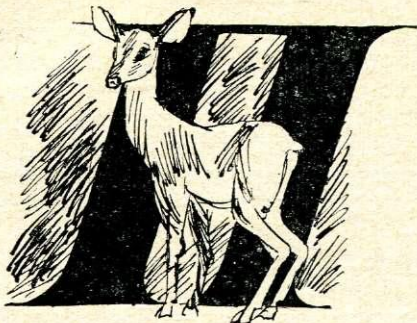
— Нет! Нет! — воскликнул Вольфгач. — Именно сейчас. Выслушайте меня, Лия. К сожалению, вы уже имели возможность видеть, какой я герой... Поверьте, Лия, не таким хотел я предстать перед вами. Вы, конечно, можете подумать...

— Ну что вы, Вольфгач, — сказала Лия, глядя в сторону, — ничего я не думаю, право...

— Так вот, вы, Лия, вероятно, давно догадывались, — продолжал он. — Но там, в городе, разговора, как вы знаете, не получилось. Все ходил вокруг да около, как, простите, юнец какой-нибудь. Не решался. Да и теперь, Лия, никак не подберу нужных таких, понимаете, слов, чтобы высказать вам... Но здесь все-таки легче. Ну, теперь, дорогая Лия, вы знаете... Все знаете. Так вот что я придумал: если пойдем пилить вон ту кривую, несчастную пихту, тогда все ясно. Значит, «нет». Ну что ж, ничего не поделаешь... Если же «да», то пойдем пилить вон тот кедр и будем наконец знать, на каком мы свете. Итак, Лия...

Лия посмотрела куда-то вдаль, потом на Вольфгача, потом опять вдаль, помолчала, улыбнулась.

— Тот кедр, Вольфгач...



1

осле большого пожарища в лесу по соседству с нами, в Вяземке, я опять возвращаюсь домой поздно вечером. Стера, недовольная, ворчит:

— И на что у тебя только жизнь уходит?

И на что, в самом деле, уходит жизнь, дни и годы, у нашего брата лесника, лесного сторожа?.. На обходы день-деньской, в «стужу и жару», как поется в песне, своих лесных владений. А участок у меня, должен вам сказать, не так уж велик по нашим дальневосточным масштабам — шестьсот гектаров всего, — но попробуйте без навыка и опыта обойти его за день!

В первые дни, возвращаясь домой поздно ночью, я не чуял под собой ног от усталости, язык, как говорится, был наружу. Но вот, как видите, такое расстояние, слава богу, я проделываю день за днем уже почти четверть века!

Но неужели действительно придется уехать отсюда?

В последнее время от Стеры то и дело слышишь:

— Люди живут в городе. С детьми...

Вернувшись из Хабаровска, куда ездила со своими отчетами в Хабаровсклес, сидит потом Стера несколько дней в конторе над своими бухгалтерскими счетами надутая, недовольная. Надоела ей, говорит, эта глушь, эта тайга. Дети тоже, как и мать, считают, что пора уже нам выбираться в город. Дочь — технолог на швейной фабрике, сын — механик на заводе Энергомаш, зять — кор-

респондент газеты. Все они иной раз приезжают к нам на субботу и воскресенье. Дочь приезжает просто повидаться с нами, мужчины — поохотиться на глухаря и зайца, чтобы похвастаться потом перед друзьями охотничьими своими достижениями. Из-за этого у меня с ними часто происходит спор.

— Мы не браконьеры, — утверждают они, — у нас есть лицензии!

Да, лицензии у них есть. Но слишком легко выдают их у нас и задешево. Вот и убывает в лесу дичи, скоро не будет на кого и охотиться...

Воскресным вечером, перед тем, как им уехать, дети всякий раз «затягивают» одно и то же:

— Пора, отец, перебираться в город...

Мне даже пытаются «сосватать» там должность заведующего большим дровяным складом. «Это тот же лес», — убеждают меня. Поди объясни им, что бревна и доски не могут заменить мне леса, с которым я имел дело всю жизнь.

Всю жизнь!

На границе России и Украины находится довольно большая деревня Гута, окруженная знаменитыми в тех краях сосновыми лесами. В деревне той жили несколько поколений еврейских поселенцев по фамилии Ковалевы. Были среди них смолокуры, были винокуры, на зиму уходившие в ближние помещицьи винокурни, но в основном это были люди, связанные с лесом. Еще смолоду они хлопотливо носились по дровяным складам, принадлежавшим богатому еврею Басу, из-под голенища сапога у них всегда ухарски торчал кончик складного аршина.

Я выходец из той семьи и, еще будучи мальчишкой, как и все мои сверстники у нас в деревне, дня не мог прожить без леса с его густой таинственной зеленью, почти вплотную примыкавшей к нашему двору, чуть ли не с пеленок привык я слышать шум ветвей и шорох листьев. Зимой мы с дедушкой, как и все крестьяне, ездили на

широких саях за дровами, летом я спозаранку уходил с товарищами в лес, откуда мы возвращались с полными ведрами веселых желтых лисичек и сыроежек, с черникой, напоминающей нашу дальневосточную голубику, но она вкуснее и слаще. Я любил лес, однако не думал связывать себя с ним на всю жизнь. Считал тогда, что лесником скорее всего пристало быть человеку пожилому, не имеющему специальности и вообще не способному к другой работе, получше, к примеру, как наш Маркел — был у нас такой, он сторожил колхозный сад. Меня же тогда больше тянуло к технике. Я мечтал уехать из деревни, поступить работать на завод в каком-нибудь крупном городе. Было мне тогда шестнадцать лет.

Я так и не успел этого сделать — началась война. В конце сорок первого немцы дошли до наших мест. За близлежащей железнодорожной станцией Зерново они огородили участок поля колючей проволокой и согнали туда оставшихся в живых и еще трудоспособных евреев из окрестных местечек и сел.

Из всей нашей семьи мне лишь одному удалось вырваться из деревни, когда туда вошли немцы. Через огороды и задние дворы я и еще несколько крестьян из села проскользнули в лес, где уже формировался один из наших первых партизанских отрядов на Брянщине, и именно там я оценил этого надежного друга и защитника — лес!

Довольно скоро я, несмотря на молодость, стал в отряде нужным человеком. Я был из тех, кто мог легко отыскать в самых, казалось, запутанных и густых зарослях ту единственную кратчайшую и безопасную тропинку, по которой партизаны уходили на задание в деревню или к «кукушке» — по ней фашисты вывозили с больших лесных бирж отборную древесину, сначала до Зернова, а оттуда к себе в рейх.

Неоднократно фашисты и местная полиция «прочесывали» лес, имея при себе собак и пулеметы. Но это же

был Гутский лес! И они боялись углубляться в его дебри, где из-за дерева, из-под земли — откуда угодно можно было заполнить партизанскую пулю.

Возможно, именно тогда, когда я впервые увидел мертвые лесные массивы, где фашисты на километры вырубали все до единого дерева, увидел это голое, неприятное кладбище и море мертвых торчащих пеньков, у меня зародилась мечта — после войны (в то, что останусь жив, я почему-то верил со всем пылом своих шестнадцати мальчишеских лет) навсегда остаться с «зеленым другом», сажать деревья, охранять их, восстановить то, что враг уничтожил.

Спустя некоторое время наш отряд влился в армию Ковпака и вместе с ней проделал путь до Карпат. Трижды я был тяжело ранен, и конец войны застал меня в ужгородском госпитале — в Западной Украине. «Куда же мне ехать?» — думал я. В Гуте, как мне уже было известно, никого из родных не осталось — все они лежали в большой могиле в поле близ местечка Середина Буда. И как раз в это время меня отыскивало письмо моей единственной оставшейся в живых старшей сестры, пришло аж с Дальнего Востока. «Приезжай, — писала сестра, — давай уж мы, осиротелые, будем держаться вместе».

На Дальний Восток я приехал вместе со Стерой. Было ей тогда двадцать два года. Невысокая, тоненькая, смуглая, она смахивала на молдаванку. Она и родом была из Молдавии — из Бельц. В годы войны она с родителями была в эвакуации в Узбекистане, в каком-то кишлаке в Хорезмской области, и так же, как и я, ехала к родным на Дальний Восток.

Помню, в Новосибирске к нашему вагону подошла пожилая женщина. Оказалось, что это родственница девушки. Я слышал, как она говорила:

— Передай Гинде-Лее и ее детям сердечный привет от меня и от Мойше!

Привет Гинда-Лея получила с большим опозданием: Стера ведь вышла со мной в том городе, куда я ехал.

Работы там было много. Но жилищ... Разумеется, до поры до времени мы могли жить у моей сестры, но я приехал туда с твердым решением, которое, пока лежал в госпитале, обдумал со всех сторон: лес, и только лес!

Сестра была изумлена, услышав, что я уже успел нанести визит в Хабаровсклес и устраиваюсь лесником в одно из городских лесничеств.

— Получше работы не мог сыскать? — удивлялась она. — Хочешь в тайге мошкарку кормить? Ты, наверно, думаешь, что это тебе наш, гутский сосняк? А Стера что там будет делать?

— Стеру берут бухгалтером в контору лесничества.

Стера, по правде говоря, не имела особого желания из города уезжать куда-то в деревню или вовсе в заброшенный таежный поселок. На эту тему у нас с ней был не один разговор, но она была тогда молода и немного легкомысленна, к тому еще очень самоуверенна. Она не сомневалась в том, что долго не потерпит мое «сумасбродство». Мне, мол, тоже вскоре надоест, как бирюку, жить в лесу, и мы так или иначе вернемся в город.

И вот — уже почти четверть века!

2

Совсем недавно я довольно неожиданно словно вновь вернулся к тем далеким годам, что провел в Гутском лесу: меня вызвали в горвоенкомат и вручили медаль «Партизан Великой Отечественной войны», которая меня искала целых тридцать лет. Стера тоже поехала со мною в город — нас пригласили на свадьбу племянницы. Торжество отмечали в ресторане, и в первые минуты я, признаться, чувствовал себя несколько отчужденно среди гостей. Отец жениха, приземистый, плотный мужчина с ежиком на голове, по виду из тех, что привыкли отда-

вать приказания, медленно опустил ресницы и поднес к уху ладонь, словно не расслышав как следует, что ему сказали, представляя меня:

— Кто? Лесничий?

И, услышав, что не лесничий, а лесник, лесной обходчик, он, прищулив один глаз, с любопытством окинул меня взглядом, а сестра Стеры, мать невесты, тоже смуглая и тоже похожая на молдаванку, качая головой, пожаловалась:

— Вот, как вы видите. Всю жизнь в глуши, в тайге, с медведями и волками... Его оттуда и клещами не вытащишь. И держит еще там мою Стеру!

Я заметил, что один из гостей, высокий мужчина лет сорока с лишним, немного уже под хмельком, то и дело заглушавший всех своим басом: «Горько!» — и требовавший, чтобы оркестр грянул «Семь сорок», как-то недружелюбно косится в мою сторону. И что же оказалось? С этим субъектом я уже встречался и раньше. В лесу.

А он, видно, решил рассказать гостям о том, как его предприятие нуждалось в древесине и как он ловко сумел договориться в конторе с кем нужно, чтобы ему выделили делянку у железной дороги, откуда легче вывезти материал.

— Прибегает вот этот чудик, — сердито выставил он указательный палец на меня, — и портит мне все дело... «Деревья, кричит, не дам рубить!» В конторе, выходит, меньше его знают, что можно и что нельзя. «Почему же, спрашиваю, нельзя рубить?» И тут он затянул что-то о том, что существует пять классов деревьев. Каждый класс — двадцать лет. Рубят, мол, обычно, деревья пятого класса, то есть вековые, а те, что взялся рубить я, еще только набирают сок.

Кто-то с другого конца стола воскликнул:

— Правильно, чтоб я так жил! Лес, Моисей Борисович, как сказано в Конституции, наше национальное богатство. Допусти таких жучков, как вы, Моисей Борисо-

вич, — все бы прахом пошло. Выпьем же за наш, русский лес и за его надежных хранителей!

Среди гостей были и фронтовики. А у них уж так повелось, о чем бы ни заговорили, обязательно свернут разговор к одному — кто, где и как восвал. Своим многоопытным оком они уже заметили у меня на лацкане только что полученную медаль «Партизан Великой Отечественной войны». Посыпались вопросы:

— Партизан?

— В каких местах?

— У Ковпака?

Но тут свадебный оркестр заиграл фрейлехс. Стера сразу вошла в круг. Глаза у нее весело блестели. Я снова увидел перед собой ту тоненькую смуглую девушку, с которой четверть века назад познакомился в поезде «Москва — Хабаровск».

Назавтра, после того как отгуляли свадьбу, я заторопился домой. Сейчас июль. Женщины собирают в лесу ягоды, живицу, пекут на кострах картошку. Достаточно одной неосторожной искры... До сих пор помню случай, который произошел несколько лет назад. Возвращаюсь вечером с обхода и вижу на соседнем лесном участке меж деревьев густой дым и пламя. Вот-вот переметнет через вспаханную полосу к нам. К счастью, до деревни было недалеко, и я успел поднять колхозников.

Поздним вечером поезд остановился на нашей маленькой станции Жаворонок. По обеим сторонам железной дороги к рельсам вплотную подступала тайга. Слившиеся верхушки деревьев словно по ступенькам восходили к ночному небу. До дому было не более трех-четырех километров. Попутных машин в этот поздний час на дороге не было, и мы отправились пешком. Стера шагала молча. Очевидно, мысленно она все еще была там, в городе, у детей. Я тоже молчал. Полная луна провожала нас значительную часть пути, освещая дорогу. Но вот она неожиданно скрылась за стеной гигантских кедров,

оставив нас одних во мраке ночи. Места эти были, однако, свои, хорошо знакомые. Каждый уголок знаешь как свои пять пальцев. Так мы шли этой летней ночью по лесу, внимая его таинственным звукам и шорохам. Над головой раздался глухой шелест крыльев. Большая летучая мышь чуть не задела Стеру по голове. Стера с отвращением сплюнула: она до сих пор не выносит это малопривлекательное, но совершенно безобидное существо...

Почти четверть века назад приехали мы в эти отдаленные неизвестные места. Первое время жили в маленьком охотничьем домике. Я, по правде говоря, не очень был уверен сначала, что Стера приживется здесь. Но она еще как прижилась! То была для нас счастливая пора. Мы были молоды и полны энергии. Пройти по тайге от нашего домика до станции Жаворонок не составляло для нас никакого труда. Стера любила, по ее же собственному выражению, «поозорничать»: отбежит в сторону, спрячется за широкий ствол кедра и кричит оттуда: «Ау!» — или же остановится посреди дороги — целоваться, не обращая внимания на мошкарку, от которой житья не было. Позже, когда мы уже перебрались в деревню, дом наш стал чем-то вроде клуба, по вечерам у нас собиралась молодежь. Без песни, до которой Стера была большая охотница, не обходился ни один вечер. Кто-то смастерил ей дудочку, и она искусно наигрывала на ней печальный неторопливый напев — дойну, как она говорила, — либо веселый виртуозный танец. Она чувствовала себя здесь прекрасно. Здесь родились наши дочь и сын. Едва они подросли — уехали в город учиться, да так и остались там. И вот теперь Стера все чаще поговаривает о том, чтобы переехать в город, поближе к ним...

Мы проходим мимо могучего кедра. Соседние деревья тоже внушительны, но не столь великолепны, они стоят на почтительном расстоянии, словно отдавая дань уважения своему царственному сородичу. О, старый знакомый! Четверть века назад ты был значительно тоньше и

в тесном окружении прочих кедров, ничем не выделяясь, был с ними на равных.

— Стера, — говорю я, — помнишь? Вот здесь, около него, мы целовались.

На ее лице, освещенном луной, появляется улыбка.

— Не только около него...

Нам есть о чем вспомнить. Нет, Стера не жалеет, что тогда вышла со мною из поезда «Москва — Хабаровск». И не жалеет, что поехала со мной в тайгу, связав с нею почти всю свою жизнь. Но дети... внуки...

3

Назавтра, едва занялся новый день, я вновь окунулся в будничные дела, которых с лихвой хватает у лесника. Тайга пробуждается рано. Зыбкий свет слабо пробивается сквозь спящие ветви. Первым просыпается у меня дятел. Этот трудолюбивый обитатель леса хорошо знает, что ему нужно выполнить за день. Вылетев из гнезда, выбирает под самой верхушкой высокой сосны шишку, по величине превосходящую его собственное тельце, и с величайшим терпением разделявает ее, — при этом ни один орешек не упадет на землю. После еды хочется пить. Он опускается к подножию дерева и на земле с большим усердием долбит клювом в одну и ту же точку. Подолбив раз десять, остановится. Внимательно созерцает проделанную работу. И вот уже сочится струйка прозрачной воды. Дятел с наслаждением утоляет жажду. Ему и дела нет до того, что здесь, внизу, произошла подлинная трагедия. Уже с каких пор на выступах корней этого дерева поселилась крупная муравьиная колония, создав, по существу, целое царство с запутанными лабиринтами, проходами, галереями, и вот теперь это все уничтожено. Виновником, очевидно, является кабан, забредший сюда ночью. Больно смотреть, как взволнованные муравьи эвакуируются, бедняги, в разные стороны в поисках нового

пристанница. Для деревьев на этом пятачке сущая беда, они потеряли таких ревностных санитаров!

Пока я шагаю от одного дерева к другому, в памяти всплывают различные эпизоды. Вспоминаю, как однажды — спустя год-два, как я сюда приехал, — меня во время обхода застигла ночь в густой поросли молодого ельника. То была удивительная ночь, какие бывают летом только в тайге да еще на берегу Амура... Все вокруг было залито ярким лунным светом. Внезапно слышу рядом тяжелое, хриплое дыхание, будто кто-то стонет от боли. Я уже привык ко всем таежным звукам и шорохам в тот или другой отрезок суток. Мне не раз приходилось встречаться лицом к лицу с разными обитателями тайги — с волком, например, и даже с самим хозяином леса медведем. Но тут мне стало как-то не по себе. Кто это? Человек? Зверь? С собой, как обычно, у меня был топор. Хоть и не ружье, все же... Я раздвинул кусты и увидел под елью олененка. Он лежал с откинутой в сторону головой. Но он был жив, смотрел на меня страдальческим взглядом: не можешь ли помочь? Передняя нога его была перебита, из раны сочилась кровь. Что же делать с тобой, малыш? Я осторожно поднял его на руки и понес домой.

Две недели пролежал он у меня во дворе на мягкой подстилке из травы. За это время мы с ним успели крепко подружиться. С какой-то особенной радостью встречал он меня, мягко и ласково бодал неокрепшими молодыми рогами, и в сероватых глазах его таилось нетерпеливое ожидание лакомства — кусочка хлеба с солью. У Стеры он тоже брал еду из рук, но при этом как бы демонстрировал полное равнодушие: «Даешь — ну и хорошо!»

Когда нога совсем зажила, олененок стал всюду следовать за мной. Отныне, куда бы я ни шел, меня сопровождали двое верных моих друзей — пес Буб и олененок. Буб по обыкновению плелся сзади, а олененок на своих

Тонких ножках переступал рядом со мной, пощипывал по дороге траву неострыми зубами и все ждал, пока мы остановимся и я поиграю немного его рожками. Спустя некоторое время он стал сам уходить в тайгу и всякий раз находил обратную дорогу к дому. Ни я, ни Стера не хотели расставаться с этим славным существом, которое мы оба успели полюбить. Но однажды он ушел и больше не вернулся. Я надеялся, что он пристал к оленьему стаду. Но в деревне мне как-то в разговоре намекнули, что жена Миколы Мелешенко варила оленье мясо (в деревне знают все).

Да, это его работа!

За двадцать пять лет мне нередко приходилось иметь дело с браконьерами всех мастей. Среди них был и вот этот Мелешенко. Маленького роста, плотный, с длинной черной чуприной и какими-то странными глазами: один — карий — глядел хитровато-насмешливо, другой — черный — настороженно-сердито. Родом он был из Львовской области. Во время войны замешан был в весьма неблагоприятных делах и после отбытия срока остался на Дальнем Востоке. Жил он в домишке на краю деревни со вдовой, которая наравне с ним знала толк в рюмке. Работал он лесорубом. Короткое время был даже лесником, но незадолго до моего приезда его с этой должности сняли за пьянство и браконьерство. Узнав, кого собираются ставить на его место, он злобно посмеивался, видимо несколько не сомневаясь, что вскоре его позовут обратно...

Не позвали.

Спустя неделю после того, как не стало олененка, я увидел Миколу, возвращающегося с лесного участка Филиппыча. За плечами у него был мешок, и на мешке большие кровавые пятна. Он шел по направлению к невысокому яру у лесного ручья и, достигнув его, перебрался на ту сторону. Я нагнал его.

— Ну как, Мелешенко, удачно поохотился?

На лице его застыла наглая усмешка.

— Не на твоем же участке, Хаскель, так чего ж у тебя голова болит?

Я был в ту пору молод, горяч. Со мною был Буб. В руках топор. У него на поясе большой, широкий нож.

— А ну, развязывай мешок! — сказал я ему. — Думаешь, это тебе олененок?

— Какой еще олененок?

— В сельсовете тебе скажут. . .

— Эй, не делай-ка шуму! — зашипел он на меня, наступая. — Мы здесь только вдвоем, один на один. А в лесу, знаешь сам, всяко может случиться. . .

Буб подошел ближе, наострил уши. Он вопросительно смотрел то на меня, то на того, как бы пытаюсь понять, что здесь происходит. Мелещенко знал, что с Бубом лучше не начинаться. Он со злобой швырнул мешок на землю. Сплюнул:

— На, подавись! Благодарю бога, что в те времена не попался мне под руку. С такими, как ты, я тогда разговаривал иначе. Нас здесь никто не слышит.

И торопливо пошел прочь.

Это было много лет назад. Но и сейчас здесь хватает таких, которые готовы уничтожить все живое в тайге, лишь бы обеспечить себя даровым мясом. . .

4

Меж деревьев на соседнем лесном участке я замечаю черную форменную куртку лесника Филиппыча. Почти каждый день встречаемся мы с ним на границе наших хозяйств, и так уже не первый год. Сейчас он сидит, у него складистая, благообразная борода, и весь он напоминает мне могучий кедр. Это он научил меня искусству быть в дальневосточной тайге своим человеком.

— Каждое деревце, — неторопливо внушал он мне, — должно быть тебе, человек, кровным, близким. Идешь по

лесу, ветка загородила тебе дорогу — отведи ее осторожно. Не ломай. Помни: дерево тоже способно страдать...

В первое время он говорил мне «человек» и все пытался понять, что могло притянуть меня к дальневосточной тайге.

В первую же нашу встречу он, помню, объяснял, что земля не может существовать без леса, как человек без одежды, без него она засохнет, замерзнет, утратит свои соки и силу. Филиппыч глубоко чувствовал красоту леса, он словно осязал и задумчивость сосны, и шепот березы, и перезвон осиновых листьев.

— Нынче, — говорил он мне, — хорошо расцвела черемуха. Значит, зима будет суровая...

Или:

— Утки плещутся у берега — славная погода завтра будет...

Когда в конторе зашла речь о новом леснике, то есть обо мне, человеке не здешнем, к тому же еще никогда не имевшем дело с тайгой, Филиппыч, уже успев ко мне приглядеться, коротко, но решительно сказал:

— Лесник!

Микола Мелешенко как раз тогда был в конторе, покуривал изогнутую свою гуцульскую люльку. Он сделал вид, что аж подавится сейчас, так ему, мол, смешно.

— Ха-ха! Лесник! А перед зайцем вот этот лесник твой не трухнет? Осину с березой не спутает? Лесник!..

В конторе кто-то засмеялся, и Филиппыч тяжелым взглядом уставился на Мелешенко.

При встрече с Филиппычем у яра обмениваемся последними лесными новостями, да и вообще не прочь немного потолковать о том, что делается на белом свете. Сейчас нас обоих занимает волк, недавно появившийся в округе. Егеря хотят выследить его и застрелить, но разумно ли это? Приезжал к нам как-то ученый из города, большой знаток животных, так вот он сказал, что и волк приносит пользу. Он помогает содержать лес в чистоте...

А у нас с Филиппычем первая заповедь — держать лес в чистоте! Мы внимательно присматриваемся к деревьям — не завелись ли вредители? Следим, чтобы лесорубы не мешкая сжигали обрубленные ветви. Благодаря этим мерам большое дерево на наших участках — редкость.

Снизу доносится нетерпеливый рокот машин. Они вывозят древесину, которую отправят на строительство БАМа. Отсюда, с яра, нам хорошо видать нашу деревню у подножия высоких сопок. Когда мы со Стерой приехали сюда, здесь, в низине, стояли считанные домишки, составлявшие казачье село Квашино. Теперь это улица почти под стать городской. Вырос большой поселок. . .

Живем мы с Филиппычем по соседству — наши дворы рядом. И издавна дружим с ним. Я уже привык почти во всем с ним советоваться. Поделился с ним, что Стера пока не дает, хочет в город, к детям. Надоели ей глушь, тайга. . . Филиппыч молча курит, смотрит куда-то вдаль — очевидно, думает о чем-то своем. И когда я уже совсем теряю надежду получить от него какой-нибудь ответ, он начинает что-то бормотать о том, что не все же такие чудачки, как мы, которые живут только лесом, деревьями. . .

Да, это так. Он сказал правильно, лучше не скажешь: мы живем лесом. Деревьями! Мне кажется, на своем участке я знаю каждое дерево в лицо. Я помню даже те из них, которых уже нет. Вот там, справа, стоял могучий, ветвистый кедр — красавец, чудо из чудес! Соседние деревья охраняли его, точно дитя, от жары и лютой стужи, когда он еще был мал и немощен. Но вот он поднялся, налился силою и широкой своей кроной принялся щедро всасывать в себя и воздух, и яркие лучи солнца. Молодая поросль под ним стала вянуть, сохнуть. Подобные деревья носят у нас название «волк» и подлежат изъятию. Что и говорит, сделал я это с нелегкой душой!

А вот и мой славный молодняк — сосны, которые я посадил шестнадцать лет назад. Слышу, как они там, на-

верху, шепчутся, за милой беседой коротая время. Они заканчивают «первый класс» и уже, можно сказать, вошли в пору невест, ростом в два раза выше меня. И чудится мне, будто они, улыбаясь, гордо раздвигают передо мной свои молодые крепкие ветви. Так можно ли их оставить? И вообще — можно ли, бросив все, уйти отсюда?..



Александровке Исай Басс появился с жиденькой седоватой бородкой, придававшей что-то жалкое, плаксивое его тусклому лицу. Ходил он сутулясь, глядел на всех овечьими глазами, набожно потирал руки и смиренно вздыхал:

— Ах ты отче наш небесный! Владыка мира!..

Свояк, к которому он заехал, был немало удивлен повадками гостя. Насколько помнилось, Исай никогда особой набожностью не отличался.

— Итак, чем думаешь заняться здесь? — поинтересовался свояк. — Ты, кажется, по торговой части?

Но Исай скорчил гримасу, будто ему рот свело кислятиной. Покачал головой:

— М-м-м-м-м... Не-е-е-е!..

Этому строгому бухгалтеру-свояку в тщательно разутюженных брюках совсем не обязательно было знать, что он, Исай, уже успел отсидеть свое за кое-какие комбинации и теперь ему нечего соваться в торговлю...

— А все-таки? — не унимался свояк.

Исай закатил глаза и, всей пятерней теребя жиденькую бороденку, сказал:

— Думаю, господь не оставит и здесь... даст пищу.

Свояку, собственно, незачем было знать, что приехал сюда Исай по «божьим делам». В Александровке, как известно, проживает изрядное число евреев «баргузинов», то есть коренных сибиряков. Так неужели не наберется

среди них для начала хоть пары десятков верующих? Или хотя бы считающих себя таковыми. Правда, ни молельни, ни общины, слышал он, у них покамест нет. Но тем лучше: он, Исай, уж позаботится, чтобы было и то, и другое...

Мысль эта возникла у Исаия уже давно. По дороге сюда из «тех мест» он завернул в небольшой городишко на Украине, к родственникам за помощью. Оказалось, что комната, где его поместили на ночь, служит еще молельней. К восточной стене был прибит небольшой шкафчик, где хранился один-единственный экземпляр Торы¹, а на подоконнике в беспорядке валялись старые пятикнижия и молитвенники, пожелтевшие, ломкие от времени, страницы которых во многих местах были подклеены папиросной бумагой.

Исай познакомился с главой религиозной общины, пузатым дамским портным с надменной осанкой, у которого с большим трудом выжал подачку из общинных средств. Тогда-то Исай про себя смекнул: «Эге! У дамского портного губа не дура! Молельня в умелых руках золотая жила... В таком случае, отчего бы и тебе, реб Исай, не заняться под старость божьим делом? Правда, в божественных науках ты не особенно силен, а что знал, давно позабыл. Мало драли в хедере²! Но сейчас не это главное. Особой осведомленности в писании и Талмуде и не требуется. Главное сейчас — инициатива!»

Исай тут же с карандашом в руках прикинул: столько-то верующих могут в среднем внести ежемесячно столько-то... Ну, а свадьбы? А поминки? Похороны? Обрезания?.. Получалась довольно-таки кругленькая сумма.

На всякий случай он тогда припрятал в своей дорожной сумке чей-то пожелтевший талес в бархатном чехле,

¹ Тора — свиток, пятикнижие Моисея.

² Хедер — еврейская религиозная начальная школа.

попавшийся ему на глаза, и старый толстый молитвенник, напечатанный еще в Вильне девяносто лет тому назад, в знаменитой типографии вдовы и братьев Ромм. В Александровку, где у него была своя, Исай привез готовый, продуманный во всех деталях план действий. Прежде всего надо найти верующих, которые пожелают стать основным ядром общины. Как это сделать? Очень просто. Встретишь на улице старого еврея или еврейку, побеседуй с ними задушевно, повздыхай, верни какое-нибудь малопонятное набожное слово — и будь уверен: они тебя сведут с кем следует.

С этого и начал. На одной из тихих улочек поселка Исай увидел длиннородного старца с плетеной кошелкой, медленно бредущего по деревянному тротуару.

— Шолом-алейхем, почтенный!

— Алейхем-шолом.

Исай умильно подмигнул старику.

— Откуда идет еврей в такую рань? Конечно, из молельни. А то откуда же еще? Суббота ведь на свете. Еще одна молитвочка на счету. А?

Старец приставил ладонь к волосатому уху.

— Откуда, говоришь? Э, ты, я вижу, шутник! — посмеялся он. — Известно, какая молитва! — Он приподнял сумку с распаренным веником. — Бая, скажу тебе, нынче особенная! Сходи, братец.

Нет, не такого старого еврея искал Исай.

Чуть поодаль, в скверике, он заметил компанию людей пенсионного возраста. Они обстоятельно просматривали газеты, обменивались новостями. Отыскав среди них евреев, Исай попытался было заговорить то с одним, то с другим. Люди слушали-прислушивались к его осторожным расспросам о молельне, о верующих с таким убийственным равнодушием, что у него пропала всякая охота продолжать беседу. К тому еще какой-то толстяк с бородкой клинышком противно ковырял в зубах, звонко причмокивал, оглядывая его выпученными, круглыми

глазами. Исай сразу возымел к нему свирепую ненависть. Тоскливо побрел он дальше по незнакомым улочкам. Ох, не так это просто, оказывается, как ему представлялось...

Но неожиданно ему повезло. Возле какого-то дома он наткнулся на небольшую кучку стариков и старушек, правда, евреев и неевреев. У ворот стоял грузовик с откинутыми бортами, устланный большим красным ковром. Исай осведомился, кто покойник. Ему ответили, что преставился местный старожил, лет за восемьдесят ему было.

— Еврей?

— Еврей.

— Что ж, — сказал Исай набожно, — дай бог каждому еврею... Покойник, судя по возрасту, был, разумеется, верующим?

— Да как сказать... Атеистом не числился.

— Как же будут хоронить?

— Как всех хоронят. Вон ждут оркестра.

— Гм, — Исай неодобрительно покачал головой, — зачем старому еврею оркестр? Ему бы заупокойную молитву да обрядить по обычаю...

Несколько старушек, любительниц погребальных церемоний и процессий, услышав о заупокойной молитве, окружили пожилого незнакомца и стали расспрашивать, кто таков, откуда.

Многозначительно кашлянув, Исай тут же, на ходу, сочинил историю. Сам он, значит, раввин и резник. Эти две должности он занимал по совместительству в течение ряда лет в большом городе, можно сказать, в столице. В каком? Неважно. Почему уехал оттуда? Из-за козней безбожников, друзья мои... Что делает здесь, в Александровке? Пока, дорогие друзья, ничего. И какие, собственно, могут быть у такого человека дела? Поддерживать колеблющихся, вернуть заблудших, укрепить верующих. Где можно, создавать общины, мо-

лельни. В общем — творить богоугодные дела. Были бы люди...

Старушки прислушивались к его словам уважительно и в то же время с некоторой опаской: «Все ли у этого человека дома?..» Вздыхали:

— С позволения сказать, где у нас такие люди?

— Мил человек, кто теперь здесь думает о боге?

— Это не так, — сурово промолвил Исай. — Позвольте мне, уважаемые, сказать, что вы не правы. Человек есть человек. Сегодня он как будто и неверующий или считает себя таковым, а завтра, друзья мои, почем знать... Конечно, если мы с вами будем вот так сидеть сложа руки...

Старухи вздыхали: «Из ваших уст да в божье ухо!» А между собой вполголоса:

— Бабы, надо будет кое-что собрать для раввина, не видите, что ли?

«Вот они, первые ласточки!» — ликовал Исай.

Знакомство со старухами весьма пригодились. При помощи влиятельного родственника одной из них Исаю удалось пристроиться в мастерской по ремонту обуви чем-то вроде подручного у приемщика — должность не ахти какая, но необременительная, и пока дело с молельней и общиной наладится, можно будет продержаться...

Первые дни сапожники поглядывали на незнакомца, слонявшегося по цеху без всякой надобности. А Фишель Горелик, недалекий Фишель с большими мешками под глазами, даже поинтересовался вслух, что это за новый товарищ. Сосед его шикнул:

— Чурбан! Не видишь, что это не товарищ? Это раввин и резник по совместительству.

Фишель недоуменно моргал белесыми ресницами.

— Раввин и резник, говоришь? Такой человек!.. Такой человек!.. Что же он делает в нашем цехе, с сапожниками?

Тут сосед ему такое сказанул, отчего Фишель еще долго потом мотал головой, хихикая в кулак.

По вечерам старушки стали водить Исаю к своей многочисленной родне и знакомым, чтобы показать им живого, «настоящего» раввина, которого те никогда в глаза не видали. Там его кое-где поили чаем, и он трогательно рассказывал о своих мытарствах, произносил небольшие проповеди.

— Рабойсай¹, в нашей святой Торе написано: «Создавший человека по образу и подобию своему...» Ай-ай-ай, человека!.. Человек, рабойсай, должен всегда помнить, что есть на небе всевышний, всемогущий. В нынешние времена выполнять предписания нашей святой религии не легко. Потому должен каждый человек, мужчина он или женщина, стараться жертвовать на богоугодные дела... Сказано бо: «Даяние спасает от смерти», а в Талмуде говорится...

Что говорится в Талмуде, он не цитировал. От общих нравоучительных сентенций, произнесенных нараспев, с набожно закрытыми глазами, Исай переходил к простой, деловой прозе, для большей доходчивости перемешивая еврейские слова с русскими:

— Нам, дорогие друзья, необходимо сколотить хоть первую пару сотен, дабы открыть миньен², а там придут на помощь и другие общины. Еврейский народ милосерден... Из Москвы нам пришлют настоящую Тору, и молитвенники, и молитвенное облачение. Так не поскупимся же, друзья, на божье дело...

Но черт поberi! После каждой такой проповеди у Исаю было ощущение, словно во рту побывала лягушка. Все его слова — как горох об стенку. Одни вежливо вы-

¹ Рабойсай — уважительное обращение к аудитории. Буквально — учителя, господа.

² Миньен — необходимый кворум (десять мужчин старше тринадцати лет) для свершения синагогального богослужения.

слушают, покивают головой, и на том кончается; другие же еще начнут острить, задавать дурацкие вопросы с подковыркою:

— Так откуда, говорите, пришлют вам все это оборудование? Не из Америки ли? Или из Израиля? А?

Что им ответить?

Ночью, забравшись на свой топчан, Исай принимался пересчитывать деньги. Дело шло туговато, подавали скупенько. Гроши. А ведь собирали-то старушки такие, что и у мертвеца из глотки вырвали бы. С тревогой и раздражением думалось о человечке, который с некоторых пор начал ходить за ним по пятам и назойливо приставать с расспросами, сколько уже собрано на молельню, имеются ли квитанции, почему деньги хранятся именно у него, кто его утвердил... Вспоминалась его красная рожа, густо обросшая седой противной щетиной, остренькие глазки. Ясно — жулик. Хочет примазаться к чужому труду. И в мастерской, чувствовал Исай, тоже дело ненадежное. Фишель как-то поведал ему по секрету:

— Вы знаете, реб Исер, они говорят: работенка у вас — не бей лежачего. Они говорят, реб Исер, что вы нужны мастерской как дыра в голове...

Исай знает, кто говорит. Это несколько пожилых сапожников, которые почему-то сразу его невзлюбили. Они пристают к нему с каким-то особенным злорадством и недоброжелательностью:

— Товарищ Басс, болтают, что вы у нас, в Александровке, мобилизовали всю вашу пехоту и якобы собираетесь открыть у нас миньен. Правда, товарищ Басс?

— Братцы, откуда, спрашивается, в наше время вот такие? Ну, понимаю, там, где темно, заводятся черви и прочая нечисть. Но у нас, товарищ Басс, у нас... Откуда вы беретесь?

«Нечего слушать, — морщился Исай, будто бы от нестерпимой рези в желудке. — Но вот такие типы, холера на них, могут своими червивыми языками напакостить...

Эх, скорей бы открыть молельню, тогда гавкайте, сколько хотите. Молельня советскими законами не запрещается. Пожалуйста, молитесь, сколько хотите. Но где ее откроешь?»

Исай ворочается с боку на бок. Что делать? Пробовал он обратиться к тем же знакомым старушкам: впустите, ради бога, хоть на одну субботу! Так ни в какую. У одной сын полковник, у другой внук комсомолец, работает в бригаде коммунистического труда, так, видите ли, негоже им такое дело... И так дело не сходит с мертвой точки...

Но однажды Исая осенила замечательная мысль. Постой, погоди, а Фишель? Фишель Горелик из сапожной мастерской! Этот тихоня и «умник» совсем недавно ведь выстроил себе дом. Фишель будто бы верующий, любит побеседовать о царстве небесном, знает, что на том свете будут сечь. Ох, будут сечь!...

Во время обеденного перерыва Исай подсел к сапожнику Фишелю, положил свою мягкую ладонь на его руку и заигрывающе подмигнул.

— Реб Фишель, ай, реб Фишель, говорят, господь вам помог — недавно вы справляли новоселье в собственном доме. Что же вы молчите, реб Фишель?

Фишель стеснительно и вместе с тем горделиво ухмыльнулся.

— Что правда, то правда, реб Исер, домик ничего себе.

— Ну вот и отлично, реб Фишель. Сам бог велел вам впустить к себе миньен. Боже упаси, не на каждый день, а на какую-нибудь субботу, на праздники. Евреи будут иметь где молиться, а вы через сто двадцать лет — царствие небесное. Вы небось сами уже подумывали об этом? А? Не правда ли, реб Фишель? Ай, реб Фишель! Что я, не знаю вас?.. Ну, реб Фишель, слово есть слово. Дал слово — держи! Мы, конечно, не думаем бесплатно. Боже упаси! Организуется община, будем с божьей помощью платить, и хорошо платить. Ну, а само богоугодное

дело? Итак, реб Фишель, по рукам. Будьте, евреи, свидетелями, — кивнул он на рядом сидевшего пожилого глуховатого сапожника. — Значит, есть у нас, слава богу, молеельня тоже. Они, реб Фишель, дай им бог здоровье, сами любезно, как вы слышали, предложили свой дом. Правда, реб Фишель?.. Громче, громче, чтобы люди слышали! Реб Фишель большой скромник. Не надо стесняться добрых дел. Многая лета реб Фишелю и его досточтимой супруге, как ее величают? Голда, говорите? И его достойнейшей супруге Голде, и всем домочадцам — амины!

От такой напористой речи Фишель растерялся:

— Я, реб Исер, конечно, всей душой... Рад был бы, да боюсь, моя Голда хай поднимет. Будет скандалить, она у меня безбожница. Ходит на агитпункт... Да и дети. Право же, не знаю, что вам сказать...

Исай хлопнул его по плечу.

— Пустяки, реб Фишель, пустяки, не прибедняйтесь. Все зависит от вас. Сказано бо есть в писании: «Муж да будет властелином в своем доме». Кто глава? Вы глава до ста двадцати лет. Ваше слово должно быть у вашей уважаемой Голды законом. Будьте здоровы и крепки, реб Фишель, и не забывайте про бога...

* * *

Новый дом сапожника Фишеля Горелика выделялся среди прочих зданий в переулке своей новой шиферной крышей и застекленной разноцветными стеклами веранды. Стоял он как-то особняком в глубине чистенького дворика. Тихая обитель. Как раз то, что надо... Исай тщательно вытер ноги, поправил широкополую черную раввинскую шляпу, одернул на себе со всех сторон пиджак и важно вступил в полутемные сени. Там он увидел жену Фишеля Голду, пожилую дебелую женщину с подоткнутым подолом и ведром в руках. Она окинула его

весьма недружелюбным взглядом. Исай мысленно сравнил ее с тщедушным простаком Фишелем. «Э, — подумал он, — вот настоящий глава семьи, и все, видимо, будет зависеть от этой малосимпатичной бабы...» Он заискивающе заулыбался.

— Здравствуйте, мадам.

Голда угрюмо посмотрела на него.

— Здравствуйте. Что вы хотели?

— Хотел бы повидать вашего уважаемого хозяина. Они, реб Фишель ваш, конечно, уже говорили вам...

— Фишель козел! — жестко отрезала Голда. — Как был козлом, так и остался.

Но Исая не так легко было обескуражить.

— Что значит козел, мадам? Реб Фишель у нас один из лучших хозяев в Александровке. Дай бог побольше таких...

Голда еще раз оглядела его исподлобья и молча скрылась за дверью.

— Там тебя твой бродяга ищет! — услышал Исай ее голос.

Вышел Фишель в шлепанцах, с молотком в руках. Он что-то мастерил.

— А, это вы, реб Исер!

— Да, я, реб Фишель. Добрый день, реб Фишель. Ну, как?

— Что вы имеете в виду? — прикинулся Фишель непонимающим.

— Да все то же, реб Фишель, насчет миньена.

Фишель, скривившись, как от горечи, пожевал губами. Сплюнул.

— Хуже быть не может. Беснуется. Известно — баба!

— Но вы-то хозяин вашему слову?

Фишель безнадежно махнул рукой:

— Не знаю, право, что вам сказать. Уж так и быть — на одну субботу, но не больше.

— Вот это другой разговор, реб Фишель, — повеселел

Исай. — На одну так на одну, и то хорошо, а там, долгие годы вам, реб Фишель, и на другую субботу, а там — на третью... Что я, вас не знаю, реб Фишель, такого богобоязненного еврея! Значит, можно звать людей?

Все, слава богу, получалось, как он и предполагал: в субботу он откроет молельню-миньен. Будет создана община. В кассе общины появятся денежки... Смущали только злые выкрики Голды и весьма не лестные слова, брошенные ему вслед.

Несколько дней потом Исай назойливо посещал дома будущих прихожан, приглашая прийти в молельню к Фишелю Горелику:

— Будем, дорогие друзья, справлять, с божьей помощью, новоселье, помолимся сообща, и каждый пожертвует, сколько сможет, на божий дом...

В назначенный день Исай пришел к Фишелю задолго до начала вечерней молитвы. В комнате стоял густой дух борща и лежалой кожи; на стенах было развешено множество фотографий родни хозяев; на столике возле большого зеркала выстроились наборы фарфоровых кошек, лебедей и слонов. Для того чтобы придать этому обывательскому жилью хоть какой-то синагогальный вид, Исай положил на обеденный стол старый, пожелтевший молитвенник, на тумбочку у самого входа поставил тарелку для пожертвований. Сам облачился в талес, зажег свечу. Вот теперь, ему казалось, комната обрела вид настоящей молельни. Эх, сюда бы еще шкафчик, повесить плюшевой занавесочкой — и вот тебе священный кивот. Придут люди — и пожалуйста, настоящий божий дом!

В коридоре слышались шаркающие шаги. Гуськом вошло несколько стариков. Исай метнулся им навстречу:

— Благословенны прибывшие! Входите, входите, дорогие друзья, входите!

Сконфуженно улыбаясь, старики оглядывались вокруг, будто впервые посещали дом своего соседа-сапожника Фишеля. Появились вскоре и старухи, с которыми

Исай свел знакомство на похоронах, — его основной актив. Одетые по-праздничному, они чинно проследовали через «молельню» в «женское отделение» — на кухню, стали у открытой двери и принялись сокрушенно качать головами:

— И это весь приход?.. О, господи!

— Пока суд да дело, — весело воскликнул румяный добродушный старичок, — пока соберется наша гвардия, забьем, братцы, козла. Тащи-ка, Фишель, домино. Нечего время терять попусту!

— Где же ваши люди, реб Исер?

Исай с беспокойством припадал к окну, за которым мутная темь обволакивала безлюдный тупичок.

— Немного терпения, друзья мои. Все наши люди знают. Все оповещены. Все обещали прийти. Люди заняты...

Но старики наперебой теребили его:

— Реб Исер, давайте-ка споем на радостях старую песню, как она там:

Ай, ребе велел нам веселиться,
Петь, плясать и пить вино.
Ай, тарарам, тарарам, тарарам!
Петь, плясать и пить вино...

— Нет, давайте лучше майрив — вечернюю молитву. До каких пор ждать? Начнем, реб Исер: «Вегу рахум ехапер овен»¹, а как там дальше — хоть убей, не помню.

— Ну, ты, Хиль Маркович, всегда был большим знатоком в черных буковках. В хедере еще пороли за то, что не хотел молиться.

— Товарищи, пора начинать!

— С кем начинать? — окрысилась одна из старушек.

Другие из «женского отделения» тоже подали негодующий голос:

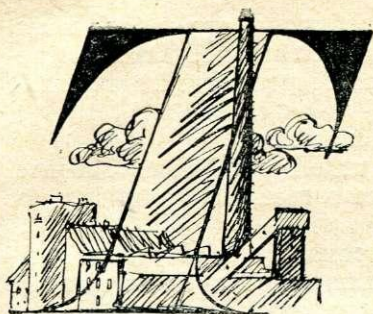
¹ Господь милостивый отпустит грехи.

— С кем начинать? Наскреблось каких-нибудь шесть калек... И это, прости господи, в таком большом поселке, который когда-то славился своими богобоязненными евреями!

Кто-то озоровато крикнул старухам:

— Эй, вы там, женское отделение! Сюда давайте! Мужчин не хватает, пойдете вы в счет. На безрыбье и рак рыба, не правда ли, реб Исер?

Исай ничего не ответил. Время тянулось для него мучительно. На сердце была давящая тоска. Свеча на столе сиротливо догорала, безнадежно, никчемно. Исай нервно шагал по комнате в старом, замызганном талесе, метал взгляды, полные тоски и ненависти, на собравшихся жизнерадостных старичков, словно они были причиной провала всей затеи, и ему казалось, что и старики взирают на него с нескрываемой насмешкой...



о были едва ли не самые тяжелые дни в моей жизни.

Я вовсе лишился покоя и сна.

Утром ко мне в кабинет вошел незнакомый пожилой человек в темном парусиновом костюме и соломенной шляпе. Он поразительно напомнил мне одного старого мастера с нашего завода.

— Шадур, — представился он.

Я узнал, что он с Дальнего Востока, едет сейчас в Кисловодск. К нам же заехал, чтобы увидаться с сыном, который работает здесь, на заводе.

— Пойдите-ка, — сказал я. — Есть у нас молодой инженер Шадур. Так это ваш сын? Но он уехал в командировку. На заводе в Краснокутске будет устанавливать новую турбину.

— Знаю, — кивнул незнакомец. — Мне уже сказали в общежитии. — И, помолчав, добавил: — Ну ладно, до отхода поезда у меня еще есть немного времени, взгляну хоть, что стало с нашей Кашеевой слободкой.

Я удивленно взглянул на него: даже у нас, в Октябрьском, мало кто помнил это забытое, стершееся из памяти название нашего города.

— Простите, откуда вам известно о Кашеевке? — спросил я.

И тут мы оба, как по команде, встали, уставились друг на друга.

— Недотепа, недотепа? — вырвалось невольно у меня.

Мы оба расхохотались.

Тридцать лет назад группу комсомольцев направили из Москвы в сибирское селение Кашеева слободка строить химзавод. Из далекого прошлого вдруг точно вынырнул чернявый худенький паренек в широкой, не по плечу, спецовке с засученными рукавами, — вынырнул и заслонил собой того, кто сейчас стоял передо мной...

Не могу вспомнить, за что его наградили таким нелестным прозвищем. Руки и голова у него были золотые, котлованы рыть (тогда еще рыли лопатами) и стены класть он был первый мастер. Надо сказать, что ребята у нас подобрались один к одному: и запевалы были среди нас, и плясуны, и шутники, — и вот, возможно, на этом фоне Шадур заметно проигрывал. К тому еще он был очень скромн и застенчив.

«Недотепа» — так его называли за глаза, так ему и в глаза иногда говорили.

— А я-то ишу директора! — развел Шадур руками. — Поди же знай!

Когда была построена первая очередь завода, часть комсомольцев из нашей группы перевели в Горск, на строительство такого же завода, а я и «недотепа» ушли в армию. И больше мы с ним не встречались.

— Есть здесь еще кто-нибудь из наших старичков? — спросил он.

— Есть, — ответил я. — И кто, ты думаешь?

Он склонил голову к плечу, сощурил глаз.

— Кто?

— Женщина.

— Женщина? Кто же?

— Голик.

— Голик? Лизонька Голик? Медсестра! Та, тоненькая!.. Блондинка...

— О, — сказал я и засмеялся, — у тебя, оказывается, отличная память. Я помню, как ты все бегал к ней в ее палатку с порезанными пальцами... Сейчас она уже не

тоненькая. Елизавета Михайловна Воронова главный врач нашей больницы.

Шадур некоторое время сидел молча, наверное, мысленно видел перед собой молоденькую Лизу Голик в «штормовке», видел, как она носится с санитарной сумкой по объектам новостройки. Все-таки, что ни говорите, до седин человек остается в душе мальчишкой!

— Для чего же ты искал директора? — поинтересовался я.

Он подошел к окну, из которого открывался вид на завод — высокие корпуса из красного кирпича, часть крекинга с высокими его башнями и путаницей серебристых труб и лестниц.

— Быть здесь и не взглянуть на завод, как ты сам понимаешь, я не мог. Иду сегодня сюда и вижу вот это, — он указал на одну из заводских труб, окруженную высоким забором.

Труба заметно накренилась в одну сторону, и когда глядишь на нее из окна, кажется — вот-вот она рухнет.

— Это такая у нас беда — как снег на голову, — пояснил я, — полгода всего, как поставили, и... осел грунт.

— Так я и думал. Давай пойдем посмотрим, — предложил Шадур.

По правде говоря, у меня в тот день на это времени не было, но я был слишком взволнован неожиданной встречей и как-то не мог отказать ему.

Мы вышли на улицу. Шадур все пытался отыскать следы старой Кашеевки, но безуспешно. Напротив заводского двора его внимание привлек белый четырехэтажный дом, где живут молодые специалисты.

— Что здесь было когда-то? — спросил он.

Он, очевидно, припоминал. Вспомнил. Маленькая деревянная церквушка. Целыми семьями приходили сюда. Нахмуренные бородатые старообрядцы, женщины в надринутых на глаза черных платках. Бросали по сторонам затаенно враждебные взгляды.

По асфальтированному тротуару мы прошли к огороженной трубе. Вблизи труба выглядела еще более плачевно. Часть фундамента со стороны улицы была взрыта в осевшую почву. С другой стороны, обращенной к заводскому корпусу, зияли открытые раны — видны были обломившиеся и растрескавшиеся кирпичи.

С минуту мы молча разглядывали накренившуюся махину. Затем Шадур повелительным жестом приказал мне остаться на месте, а сам с какой-то удивительной кошачьей осторожностью устремился вперед.

— Куда? — крикнул я ему вслед.

Он лишь нетерпеливо махнул рукой, словно я мешал ему установить нечто очень важное в нынешнем состоянии трубы. Я с беспокойством следил, как он ползал вокруг фундамента, щупал пальцами осевшие места, время от времени поднимая глаза к верхушке трубы — что-то там созерцает.

— Ну, что ты там наколдовал? — с досадой накинул ся я на него, когда он наконец вернулся ко мне. — Она ведь в любую минуту может рухнуть! Ее уже смотрели — была комиссия из Тепломонтажа.

— И что она сказала?

— «Ломайте и ставьте новую» — вот что она сказала.

Шадур смахнул грязь с колен и опять устался на верхушку трубы.

— Такое встречается довольно редко... Ну, а о других вариантах не было пока речи?

— Будь спокоен, — сказал я, — уже обдумали все варианты и остались только при одном этом.

До заводских ворот мы шли молча. Он останавливался возле тех корпусов, которые возводил тридцать лет назад, а я, видевший их день за днем уже многие годы, невольно перенесся в то время, когда мы, молодые строители без опыта, без знаний, — правда, комсомольского задора у нас было много, — строили этот завод.

День выдался яркий, солнечный, небо светло-голубое, высокое. Асфальт густо покрыт тополиным пухом, словно снежок первый выпал. Мимо заводского двора катит поток машин и автобусов. Город наш уже достаточно многолюден, и никто из прохожих не оглянулся на двух мужчин, на двух старых друзей, что встретились так случайно и вскоре опять расстанутся.

— Послушай-ка, — обратился ко мне Шадур, но тут же замолк. Он долго молчал, глядя на мраморный обелиск в стороне; казалось, он что-то решает про себя. — Сейчас слушай меня: трубу не надо ломать. Ее нужно выпрямить. И она будет стоять и стоять!

Подобные советы мне уже приходилось выслушивать.

— А кто выпрямит? — спросил я немного едко. — В Тепломонтаже даже слушать об этом не хотят.

Он сбоку заглянул мне в лицо.

— А если... я возьмусь?

— Ты?

По правде говоря, я немного опешил. И вдруг поймал себя на мысли о том, что, в сущности, об этом «недотепе» ничего не знаю! Воронова — хирург, я — инженер-химик, а он? Кто он?

Рядом со мной шел человек, который, казалось, знал что-то такое, чего не знал я.

Он тронул меня за локоть.

— Мои трубы стоят на многих заводах у нас в стране. Спроси в своем Тепломонтаже о трубах Шадура.

Я с изумлением взглянул на него.

— Трубы Шадура? Это твои трубы? Ты и есть тот знаменитый Шадур? — вскричал я.

Он усмехнулся.

— Итак, ты принимаешь мое предложение?

Я, разумеется, должен был бы обеими руками ухватиться за это предложение. Раз уж известный трубных дел мастер Шадур, у которого консультируются профессора, сам берется за это!

«Но там, в тресте, тоже не дураки сидят, — подумал я, — вправе ли я подвергать человека такой опасности — разрешать такую рискованную операцию?»

Вдруг мне пришла в голову дельная мысль.

— Знаешь что, — сказал я, — давай сделаем так. Мы пригласим людей из Тепломонтажа на «консилиум», послушаем, что они скажут. А пока суд да дело, ты просто мой гость!

К обеду я привел из гостиницы Шадура, свежесвыбритого, в светло-сером костюме в черную полоску, — он выглядел настоящим франтом! Представил его домашним и Елизавете Михайловне Вороновой, которую я специально попросил прийти из больницы ради гостя.

Разговаривая с ней по телефону, я пытался заинтриговать ее.

— Из наших, старичков, говоришь ты? — спрашивала она. — Недотепа, говоришь? Что за недотепа? Хоть убей, не помню!.. Влюблен был? Вы все были влюблены тогда!

Увидав Шадура, Воронова всплеснула руками:

— Боже мой, он! Конечно, он!

Она расцеловалась с Шадуром. Задумчиво улыбаясь, Шадур смотрел на располневшую женщину с тяжелыми, уложенными вокруг головы золотистыми косами — попробуй узнай в ней ту комсомолочку Лизоньку Голик!

— Что ты так смотришь на меня? — рассмеялась она. — Я ведь уже бабушка.

Мы просидели до глубокой ночи. Вспоминали старых друзей.

— Ну, а ты? — спросила Воронова Шадура. — Кем ты работаешь?

Шадур хитровато сощурил глаз.

— Моя профессия довольно редкая.

У Вороновой даже лицо вытянулось от удивления, когда она услышала, что он ставит трубы.

Шадур засмеялся.

— Лизонька, эта работа требует от человека тех же самых качеств, какие требуются от космонавтов. Да, да, не смотри так. Пока тебя допустят к этим трубам, еще повертись на центрифуге до чертиков в глазах, и нужно, чтобы не закружилась голова, не стошнило, не вывало... И не только это...

— Да, героическая профессия, — поддержал я его.

Воронова взгляделась в лицо Шадура и покачала головой:

— Вид у тебя далеко не геройский. Что, сердце?

Ну да, немного. Едет вот сейчас в Кисловодск. Уже несколько лет, как доктора запретили ему лазать «под облаками». Ныне он на «спокойной» работе — директор ПТУ в Комсомольске-на-Амуре.

Весь завод быстро облетела весть, что нашелся-таки мастер, который берется выпрямить трубу, и он, этот мастер, отец инженера Шадура. Приехал проводить сына...

Мне даже передали со всеми подробностями беседу, которую якобы старый мастер вел с людьми из Тепло-монтажа. Те, значит, стояли на своем: «Ломать!» Само по себе разрушить стометровую махину уже дело довольно сложное, утверждали они. А отец инженера говорит: «Сломать — дело нехитрое. Попробуйте выпрямить!» А те за свое: «Опасно!» А старик им в ответ: «Мы как саперы — они тоже могут ошибаться, но только один раз в жизни. Ну и что с того?»

Мне известно, что беседа Шадура с монтажниками протекала несколько иначе. Двое из них поддержали Шадура и согласились взяться за эту работу под его руководством.

В течение целой недели внимание всех, кто работал на заводе, было приковано к накренившемуся великану, которому делали «операцию». Шадур со своей бригадой работал с утра до позднего вечера — нужно было торопиться, пока стояли погожие дни.

Издали мы наблюдали, как осторожно, ловко разби-

рают часть осевшего фундамента и ставят подпорки. Каждый вынутый кирпич увеличивал опасность — труба в любую секунду могла рухнуть и засыпать людей.

То и дело из больницы звонила Воронова:

— Что слышно? Как чувствует себя «наш»?

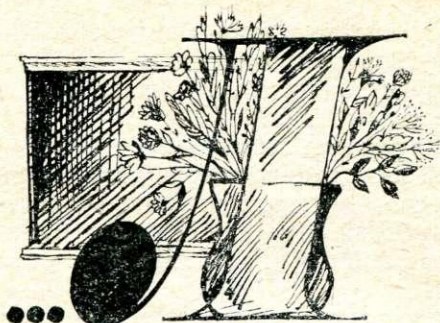
И после работы, иной раз даже не заходя домой, приходила она на завод со своей докторской сумкой и сидела вместе со мной до глубокой ночи, глядя на огороженный угол, залитый беспокойным голубоватым светом прожекторов.

День за днем мощные стальные тросы осторожно, едва ощутимо оттягивали назад верхушку трубы. И вот наконец мы увидели: она стоит, как и прежде, прямая, гордая, верхушкой уходя в небо.

В тот день после работы очень многие устремились в распахнутые ворота ограды, которая вдруг стала лишней, ненужной. Как-то само собой возник импровизированный митинг. Секретарь парторганизации завода объявил, сколько денег было сэкономлено государству в результате проведенной операции. Собравшиеся бурно аплодировали, когда я сообщил о том, что Шадур был среди тех, кто много лет назад закладывал краеугольные камни нашего завода.

— Выходит, — раздался чей-то восторженный голос, — и фундамент заложил, и трубу поставил!

Шадур стоял уже переодетый в свой темный парусиновый костюм, с соломенной шляпой на голове. Он был бледен. Но усталое лицо его сияло той радостью, которую испытывает каждый подлинный мастер, выполнив необычайно трудную и сложную работу.



...
 етом непременно приеду к вам — соскучилась уже по городской сутолоке, по неоновым фонарям, даже по автобусной давке... Но главное — хочу заказать в ателье (первой категории) несколько нарядных платьев и купить пару лакированных лодочек. Это — обязательно к новому учебному году!

Вижу твою ухмылочку: «Лакированные туфельки... Только их и не хватает ей в той дыре! И почему обязательно к новому учебному году?»

Так вот:

Как тебе известно, после института меня направили в Ново-Октябрьский район (мне же всегда везет!) — один из самых отдаленных в нашем крае, настоящая глубинка. Намного быстрее доберешься от вас до Москвы, нежели до нашего села, хотя оно и называется Близкое. Признаться, поехала я туда без особого воодушевления и прибыла к месту назначения уже после августовских учительских конференций.

Вместе со мной с теплохода в райцентре сошел еще один горемыка — молодой лохматый парень лет двадцати четырех — двадцати пяти, физик из Иркутского университета, для мужчины, представителя нашей профессии, довольно-таки рослый и плечистый. Одет он был в коричневую вязаную безрукавку и лиловые джинсы, облепленные карманами разной величины. Я даже подивилась: зачем человеку столько карманов? Лицо у него было

круглое, шафранно-загорелое, как после многодневного туристического похода по жарким краям; глаза небольшие, иссиня-черные глаза уверенного в себе упрямца. Не красавец, но ничего, симпатичный малый.

Заврайоно, молодая нанайка с на редкость умными узенькими глазами, встретила физика словно долгожданного родича; понимающе кивала головой, объясняя его опоздание:

— Конечно, конечно, к нам добраться!.. Вас, разумеется, оставим здесь, в школе-интернате, — мило улыбалась она.

Со мной же дело обстояло менее утешительно: историков и литераторов в районе предостаточно. Во всяком случае, сейчас в них особой нужды нет, разве что в школах самых отдаленных сел. Оказалось, что мне еще повезло — еду в рыбацкое село Близкое. Называется оно так, по-видимому, потому, что оно недалеко от райцентра — всего полтора дня пути вниз по Амуру. Добираются туда на катере, что два раза в неделю возит почту, или на моторной лодке...

Заметив мой подавленный вид, заврайоно принялась меня утешать, подбадривать:

— Село большое. Есть молодежь. Большой клуб...

«Да, да, — уныло думала я, — большой клуб...»

Признаюсь, в ту минуту я позабывала этому физику, сидевшему рядом, как мне казалось, с самодовольной физиономией. Ему-то, во всяком случае, не придется таскаться к черту на кулички. Вдруг я услышала его басок:

— А физики там, часом, не нужны?

— Физики везде нужны, — ответила заврайоно.

— Так пошлите и меня туда.

Заврайоно подняла на него глаза и тут же с любопытством перевела их на меня. Наверное, и у нее мелькнула та же мысль, что сейчас у тебя... Я почувствовала, что мучительно краснею, и очень разозлилась на... физика.

— Товарищ, — язвительно проговорила я, — романтик. Товарищ желает быть там, где трудней...

Физик спокойно посмотрел на меня поверх своих квадратных очков и довольно мирно улыбнулся.

— Вы правы, трудностей я не боюсь. Но, — добавил он, — у меня на то свои соображения.

Заврайоно метнула на меня еле заметную лукавую улыбку.

— Ну что ж, так и быть. Уважим вашу просьбу.

У меня отлегло от сердца. Как бы то ни было, а в тот медвежий угол поеду не одна. Нашелся еще один сумасброд...

Катерок отправлялся туда через два дня, на рассвете. Я ничего не имела против того, чтобы провести их в уютном, благоустроенном райцентре, но физик уперся, да и все. И так опоздали! Доберемся как-нибудь на моторке.

— Попутного вам ветра, — сказала заврайоно. — Не утопите в Амуре историка!

Физик заверил ее, что навигации подобного рода он совершал по Байкалу, и по Енисею, и по Баргузину. Похоже было, что и для заврайоно такой вид транспорта дело обыденное.

Физик не торопясь снял безрукавку, расстегнул ворот клетчатой ковбойки, засучил рукава и сразу стал похож на коренастого рабочего парня или на молодого рыбака, собирающегося на путину. Глядя на его коричнево-загорелую шею, на крепкие, мускулистые плечи, в которых чувствовалось что-то честное, мужественное, хотелось верить, что с таким попутчиком не пропадешь ни в тайге, ни на реке.

В тех северных местах на Дальнем Востоке в конце августа уже довольно прохладно. По ночам бывают даже крепкие заморозки. Но нам повезло. Дни стояли тихие, солнечные, какие бывают лишь на стыке лета и ранней осени. Мы пустились в путь. На всей необозримой реке мы были единственными путешественниками, и только

далеко на бледном небосклоне черными точками выступало несколько рыбацких лодок. Мимо нас проносились обрывистые берега с лесистыми горными кряжами. С головокружительной высоты на нас глядели лиственницы, облитые осенним золотом. Физик, сидевший у мотора, вдруг ни к селу ни к городу протяжно запел: «Славное море, священный Байкал...» На миг меня охватило какое-то бесшабашное веселье. Хорошо все ж, черт побери, жить на свете, даже когда едешь учительствовать в такую глухомань, как село Близкое!..

До поздних сумерек неслась наша посуда по волнам, оставляя за кормой бурлящие, пенистые холмики. Ночь здесь наступает мгновенно. Только что на краю неба стоял огромный багрово-красный шар, а вот уже густая тьма. Мы причалили к отлогому берегу. Физик с ходу взялся собирать сухой валежник и сноровисто, как заправский таежник, разжег костер. Мгла кругом сделалась гуще. С одной стороны нас обступала стеной ночная тайга, полная пугающих шорохов и звуков, с другой — необъятная река в непроницаемом тумане, и мы одни-одинешеньки во всем этом жутком мире! Я раскаивалась уже, что согласилась на такое путешествие.

— Еще какой-нибудь хищник забредет в гости! — ныла я.

Возясь у костра, физик невозмутимо ответил:

— Не исключено.

— И тогда что?

— Тогда будет плохо.

Наши взгляды встретились, и оба мы расхохотались. «А парень ничего! — подумала я. — Не совсем чурбан!» Страхи мои постепенно стали улетучиваться. Вел себя физик безукоризненно. Никаких донжуанских поползновений. С обеих сторон костра он смастерил лежа из лапника, мы легли на пружинящий ельник, остро и свежо пахнувший осенью, и всю ночь проговорили.

— Послушайте, — приставала я к нему, — вы, моло-

дой, здоровый мужчина, едете в такую глушь учителем. Не могли выбрать профессию повеселей?

— Учитель, — сказал он, — не профессия или, вернее, не только профессия.

— А что же?

— Призвание.

— «Свежо» и «оригинально».

— Зато правильно.

— И вы верите, что это ваше истинное призвание?

— Видите ли, любое искусство, как говорит поэт, «езда в незнаемое». В школе увидим.

«Увидишь, увидишь! — хотелось мне крикнуть ему. — Увидишь, когда попадешь к сорванцам из пятого или шестого класса, а они у тебя будут ходить на головах...»

Из дальнейшего разговора я узнала, что в Близкое он вызвался поехать потому, что там он будет иметь больше возможностей проводить свои педагогические идеи и эксперименты. Я с улыбкой взглянула на него. Балагур? Нет. Это он вполне серьезно. Повернув ко мне лицо и опершись на локоть, он произнес:

— То, что я говорю, вам, конечно, покажется трюизмом, но я не боюсь повторить: в школе должны работать те, кто призван к этой высокой миссии, — так высокопарно выразился он о нашей скромной профессии, — люди, которые не мыслят своей жизни вне школы.

Себя, по-видимому, он причислял к категории призванных. Одним словом, на лапнике у костра, напротив меня, возлежал будущий Макаренко или Сухомлинский!

— Творчество учителя, — поучал физик, — высокое искусство, как, скажем, театр или поэзия. Да, да! — вызываясь воскликнул он, словно я ему возражала. — А идти в искусство без таланта нельзя. Противопоказано. Учитель обязан быть талантливым. Всю жизнь отдай и разбуди в себе талант. Или же уходи!

Ночью физик несколько раз поднимался и подбрасывал в костер ветки и шишки. Костер стрелял во все сто-

нашим нравится, а этот в школе без году неделя, ему, вишь, не угодили! Кончилось тем, что физик, махнув рукой, потребовал краску и кисть и сам взялся за дело.

Мы с учительницей истории в то время сидели в одном из классов и составляли календарные планы. Моя коллега все старалась выведать, что заставило меня поехать в такую даль. Неужели не было никакой возможности устроиться в каком-нибудь городе? Для молодых учительниц какие здесь перспективы? Ну, да, многозначительно поджала она губы, многие рвутся сюда за длинным рублем, за северными льготами. Понемногу она проговорилась, что мой приезд расстроил ее планы. Она собиралась вызвать сюда родственницу, тоже учительницу истории, — ей два года до пенсии...

Моя коллега поинтересовалась: не жених ли физик?

— Не знаю, — сказала я, — может, и жених.

— Ваш?

— Нет.

— В таком случае можно говорить, что думаешь?

— Разумеется.

— Ну, так вот: молодой-молодой, а уж любому старому подхалиму фору даст... С первого дня, не успев еще ступить ногой в школу, так и лезет из кожи понравиться директору... Сам, видите ли, взялся за покраску. За побелку. А нашему директору дай только повод...

— Не думаю, что он подхалим, — сказала я.

— Ну, тогда, — многозначительно повертела она пальцем у виска, — тогда он, как говорят теперь, «с приветом».

«Или же — талант», — подумала я.

То, что он не ошибся в выборе профессии, для меня стало ясно уже с первых же дней. Учитель может проработать в школе всю жизнь, быть вооруженным до зубов всеми передовыми педагогическими теориями, применять самую изощренную педагогическую «стратегию и такти-

ку» — и после всех усилий добиться весьма скромных результатов. А рядом с ним другой учитель действует вроде бы и без каких-либо ухищрений. Он сам не сознает своей силы (а может быть, сознает!). Но то, что первый достигает ценой большого, напряженного труда, второму дается как бы само собой. Моцарт и Сальери!

Несколько дней спустя мы, я и моя коллега, встретили физика уже с группой старшеклассников на берегу Амура. Под его руководством они чинили моторку. Он им что-то говорил, показывал, и видела бы ты, как завидно просто, как хорошо он держался с ними, с каким увлечением слушали его ребята. Моя коллега бросила в его сторону неприязненный, осуждающий взгляд.

— Видали? — вполголоса проговорила она. — Учебный год еще не начался, а он уже «проводит работу», завоевывает авторитет... Сами видите, село наше у черта на куличках. Редко к нам кто заглядывает. Даже инспектор районо появляется у нас, как говорится, раз в год по обещанию, а уж кто-нибудь повыше... Кому, скажите, охота добираться сюда? Работали спокойно, каждый по своим возможностям, нервы друг другу не портили. И дальше жили бы спокойно. Так вот этот, — кивнула она в сторону физика, — этот не даст. Вижу...

Тут она вспомнила недавний педсовет, на котором распределяли классное руководство. Учителя много говорили о трудном шестом «б» классе. Физик молча слушал, затем выступил и попросил дать этот класс ему.

— Он, желторотый, еще не знает, что это за «хлеб». Самому лезть в такой хомут! В такое пекло! Погодите, говорю вам, он еще не одно коленце выкинет...

И действительно, первого сентября физик «выкинул коленце» — появился в школе в новеньком, с иголочки, черном, тщательно отглаженном костюме, в белоснежной сорочке, с белой артистической бабочкой, в сверкающих лакированных туфлях. Учителя наши были шокированы.

— Ну и ну! — пожимали они плечами. — Для кого? Для чего? В нашей глуши! В первый же день он мелом у доски испачкает свой «фрак»...

Моя коллега с сердцем произнесла: «Ну и пижон!» Женщина-завхоз стрельнула нагловатыми глазками и хихикнула в кулак: «Жених хоть куда!»

Признаюсь, лично я в таком шикарном наряде в этой сельской школе, под столькими удивленными, ироническими взглядами, наверное, почувствовала бы себя нелепо. А Виталий, то есть физик, как бы не замечал этих взглядов. Они не могли омрачить его праздничное настроение. Движения его были солидны и одновременно легки и ловки. Учительница истории с усмешечкой заметила ему, что в таком наряде он больше походит на дирижера симфонического оркестра или на певца, а никак не на учителя.

Оглядывая будничное суконное платье учительницы, физик вежливо возразил:

— Ошибаетесь, уважаемая. Именно так должен являться учитель перед учениками в классе. Или, по-вашему, учитель чем-то ниже дирижера и певца?

— Не знаю, выше или ниже, — иронически сказала учительница, — но это разный коленкор. Мы — простые смертные.

Через несколько дней физик «выкинул новое коленце». Во время одной из переменок завуч, женщина умная и приятная, обратилась к нему с каким-то поручением. Физик рассеянно посмотрел на нее поверх очков и попросил с такими делами обращаться к нему после уроков, ибо, объяснил он, все, что не имеет прямого отношения к уроку, выбивает его из творческого состояния... Стоявшая рядом учительница истории слегка толкнула меня.

— «Творческое состояние»! — покачала она головой. — Строит из себя что-то... Ошибся, голубчик, дверью!

Завуч немного помолчала, задумчиво повела бровью:
— А может, и не ошибся...

В том, что он не ошибся, я все больше убеждалась с каждым днем. Как раз к нам тогда нагрянула комиссия. Откуда, думаешь? Аж из крайню — все старые зубры, суровейшие методисты. От таких пощады не жди! Трудная пора наступила в школе. Моя коллега лишилась сна и аппетита.

— Пропали! — ныла она. — История тебе не математика. Тут каждый знаток. Все будут переться к нам на уроки...

Я тоже изрядно повесновалась, хотя у меня обошлось сравнительно благополучно. Даже слегка похвалили. Что касается физика, то посмотрела бы ты, как свободно, с каким завидным достоинством вел он себя с инспекторами, словно был не рядовой, начинающий учитель, а равный им. А после того, как побывали у него на нескольких уроках, глава комиссии, тоже физик, седой мужчина, суровый молчальник, из тех, что не знаешь, какой камень припрятан у него за пазухой, стал широко и приветливо улыбаться ему и разговаривать с ним с большим уважением.

У учительницы истории посетили всего-навсего четыре урока, и я видела, как после каждого посещения у нее судорожно дрожали губы, а на виске нервно пульсировала голубая жилка. Физик тоже выходил из класса чуть-чуть взволнованный, но это была совершенно другая взволнованность. По оживленным, улыбающимся лицам проверяющих видно было, что урок прошел с блеском.

Присматриваясь к работе Виталия, я часто стала задумываться над тем, что такое призвание учителя. Вот один и тот же седьмой класс. Обыкновенные ребята. Но когда наша словесница (кстати, с отличием окончившая филфак Владивостокского университета) вспоминает, что у нее там уроки, ей, по собственному признанию, стано-

вится муторно, свет не мил. В классе она кричит на ребят, угрожает вызвать к завучу, к директору, выставить из класса. Дисциплина никудышная. Двойки. Вечные слезы на педсоветах. Жаль ее... Частенько вижу учительницу выходящей из класса с затравленным видом и красными пятнами на лице... На следующий урок туда идет физик, идет как на праздник, словно его ждет там нечто в высшей степени радостное, важное, неизведанное. Правда, и он не всегда выходит из класса вполне удовлетворенным. Что-то, по его мнению, на уроке не совсем удалось ему. И тогда он смотрит на вас нахмуренным, отсутствующим взглядом, — должно быть, мысленно анализирует допущенный просчет.

После физика в класс иду я. Меня ты хорошо знаешь: могу так «выразительно» глянуть... Словом, ребята меня уважают и немного побаиваются. Зато все сорок пять минут приходится быть начеку, не спускать глаз, словно дрессировщик, и от этого у меня бывает горько на душе. Мне не нужна эта мертвая тишина, которая устанавливается под моим строгим взглядом. Я завидую тому шуму, что на уроках у физика. Шум там возникает не из озорства или от скуки, а от радости познания.

Мне тоже хочется на моих уроках такого шума. Не могу жаловаться, что ребята меня плохо слушают (готовлюсь к урокам до одурения), но редко бываю довольна собой. Мне не дают покоя слова физика тогда, у костра: «Учитель обязан быть талантливым!» Обязан быть... Кто же я? Во всяком случае, я готова отдать всю жизнь за то, чтобы сотворить из себя талант (если вообще можно «сотворить» талант!), или же — уйду. Быть таким педагогом, как моя коллега, учительница истории, единственная мечта которой спокойно добраться до пенсии, или такой, как наша словесница, не хочу и не буду!

Но какое отношение имеют эти рассуждения, эти высокие материи к новым платьям и лакированным туфлям,

которые я обязательно должна иметь к началу учебного года?

Как я уже писала, увидев «антре» нашего физика в день первого сентября — парадный черный костюм, белую сорочку, артистическую бабочку и лакированные туфли, — учителя были «эпатированы». Я бы не сказала, что они так уж плохо одеваются, — зарплата здесь у нас очень и очень приличная, — но как-то буднично, небрежно, что ли.

И вот представь себе...

В один прекрасный день, вернее, в одно прекрасное утро директор, которого я до самого начала учебного года довольно-таки часто видела на улочках села в ватничке и в смятом дешевеньком костюмчике (глушь, глубинка!), — вдруг появился в новом ратиновом пальто, на шее цветной мохеровый шарф. Из своего кабинета он вышел в добротном твидовом костюме, белой сорочке с красивым, модным галстуком и тоже в лакированных туфлях — и сразу обрел столичный вид. Этаким рослый светлый блондин, голубоглазый красавец, чем-то похожий на поэта Назыма Хикмета, портрет которого — помнишь? — висел в нашей комнате в общежитии...

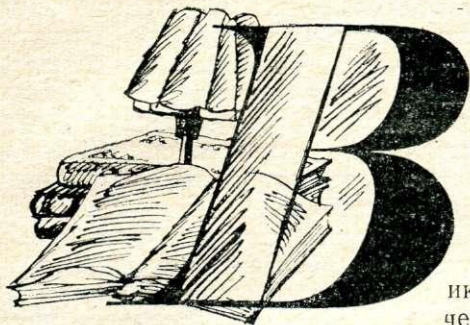
А через несколько дней мы увидели в учительской — кого, думаешь? Мою коллегу, учительницу истории, в прекрасно сшитом шерстяном светло-сером платье, в лодочках на модном каблуке. Черный, как вороново крыло, шиньон делал ее как бы выше ростом, внушительней, а смущенная улыбочка, с которой она вступила в учительскую, придавали ее чернявому лицу выражение приветливости, я бы даже сказала — доброты...

...Теперь, с легкой руки физика и директора, все наши учителя, вернее, учительницы, приходят в школу, как правило, в своих лучших нарядах. Сразу стало заметно, что в нашем коллективе целый цветник молодых хорошеньких учительниц. Так до этого я в своем един-

ственном нарядном кремовом платье (у тебя такое же) выглядела весьма «комильфо». Но сейчас же на фоне расфранченных учительниц я выгляжу сереньким, буд-
неньким воробушком.

Но погодите!

В новом учебном году мы еще посмотрим!



ика и Оля, подружки-четвероклассницы, любят порыться в моих книгах — ведь у меня есть и такие, которых нет в их школьной библиотеке. Однажды в руки им попал том с рассказами Шолом-Алейхема «Дети черты» — дореволюционное издание на русском языке, с пожелтевшими страничками, в черном коленкоровом переплете. Девочки взяли книгу домой, и на завтра я узнал, что рассказы им очень понравились, но многое осталось для них непонятно. Даже само название книги — «Дети черты»... Еще им попало такое слово, как «правожителство». Что это такое? Оля высказала предположение, что когда-то, наверное, это означало получить ордер на квартиру или прописаться в домоуправлении. Но, возможно, означало и что-то другое. Девочки решили спросить у меня, — может быть, я знаю.

— Да, знаю, — сказал я.

И объяснил, что означала «черта оседлости» в царской России.

— Что же касается «правожителства», — добавил я, — то однажды, когда я был примерно в вашем возрасте, сам испытал, что это такое.

Девочки с удивлением посмотрели на меня. Они не представляли себе, что я, ближайший сосед их, успел захватить еще те давние времена, когда у нас в стране существовал царь и были прочие дикости.

— Было мне тогда лет девять-десять, — начал я свой рассказ. — Помню, лето стояло жаркое, сухое. Целыми днями носился я босиком по пыльным улочкам нашего местечка, но больше всего любил раскачиваться на прогнившей доске, переброшенной через огромную лужу, которая занимала изрядную часть нашей улицы. Я, разумеется, был убежден тогда, что это и есть настоящая жизнь — интересная, привольная.

Как-то раз дедушка мой присел на завалинку, молча оглядел мои измазанные штаны и сказал спокойным, ровным голосом, словно сообщал весть вполне обыденную, что собирается он ехать в Васильевский хутор, в гости к дяде Мойше-Лейбу. Он, по правде говоря, хотел и меня тоже взять с собой, но, как он видит, я неплохо провожу время и здесь, и, кроме того, оказывается, я человек занятой — не могу никак оставить лужу. Ну ладно, нет — так нет. Он как-нибудь один съездит в Васильевский хутор.

Услыхав это, я чуть не заплакал.

— Как это так — я не хочу?! Я очень хочу!

Я боялся, что дед уедет без меня, и ни на минуту не упускал его из виду. Мне уже приходилось слышать, что в Васильевском хуторе, который находился в верстах двадцати пяти или тридцати от нашего местечка, живет богатый помещик Скрылев. У этого помещика есть большая винокурня, где «гонят» водку (как это ее «гонят», я себе не представлял). На том водочном заводе мастером-винокуром работал мой дядя Мойше-Лейб. Итак, мы поедем в гости! Какое событие! Какая радость! Мне никогда до этого не приходилось бывать в деревне, я не видел настоящего поля, леса. Весь мой мирок состоял из нескольких местечковых улиц с двумя церквями и грязно-серой каланчой, которая в моих глазах выглядела не иначе, как небоскребом.

Дед в тот же самый день нанял подводу, и мы отправились в путь.

Сразу же за местечком передо мной открылся удиви-

тельный мир. Далеко на горизонте темнела густая полоса леса: там начинались наши знаменитые Гутские леса, где я никогда не был, но столько слышал о них. А пока мы ехали мимо поля, зреющие колосья своими колючими, волосатыми головками так и просились к нам в руки. А воздух! Если бы вы смогли вдохнуть в себя этот теплый, медвяный, сухой воздух!

Натужно скрипели колеса телеги — колея была глубокая. Дед, покачиваясь в повозке, дремал или делал вид, что дремлет. А я в это время предавался мечтам о том, как славно поживу на хуторе у дяди Мойше-Лейба. У него, как я слыхал, возле дома есть и сад, и огород, а в саду яблоки, груши, черешни... Две коровы, собственная лошадь. Да и сам хуторок Васильевский представлялся мне ни дать ни взять молочной рекой с кисельными берегами, там, наверно, всегда светит солнце, там весело, красиво...

Прибыли мы в Васильевский под вечер. Хотя место и называлось хутором, оно скорее напоминало большую деревню. Поначалу показался небольшой погост с деревянными крестами, среди которых бродили коровы с телятами, затем из-за деревьев выступила белая церквушка, и за ней потянулся целый ряд добротных домов, крытых черными и зелеными железными крышами. Мы проезжали мимо садов и огородов, сараев и амбаров, принадлежавших богатым хозяевам. Но чем ближе к винокурне, домишки становились все беднее. Низенькие, приземистые, точно жучки, и покрыты прогнившей соломой. Встречались и землянки, их едва можно было различить в сгустившихся сумерках. Проходили мимо крестьяне в полотняных штанах, в лаптях, а то и босиком.

Тут я прервал рассказ и спросил у девочек, довелось ли им когда-нибудь видеть лапти. Они ответили, что видели.

— У нас в школе, — пояснила Вика, — висит картина «В деревенской школе». Там все ученики в лаптях.

— Шлепанцы из коры, — добавила Оля.

— И действительно, — продолжал я рассказ, — на другой же день для меня началась удивительная жизнь.

В обширном дворе винокурни я увидел белобрового круглоголового мальчугана. Это был сын механика Витька. Механик жил по соседству с дядей. Сначала мы с Витькой поглядывали друг на друга издали, нахохлившись, точно два петуха. Тот, очевидно, хотел доказать, что он здесь хозяин, мне же хотелось дать ему понять, что он зря задирает нос. Постепенно расстояние между нами становилось все меньше, пока мы, что называется, не сошлись носом к носу.

С минуту мы оба молчали.

«Ты из города?» — спросил Витька.

«Из города».

«Приехал к нашему винокуру?»

«Да».

«Завод уже видел?»

«Нет».

«Так посмотри же».

Большие корпуса завода из красного кирпича, с высокими черными трубами вызывали почему-то в душе у меня и страх и удивление. А если еще представить, что там делается внутри! Колеса и винтики, всевозможные изогнутые трубы и трубочки, гигантские чаны, градусники разной величины... Десятки ступенек ведут наверх, к галереям, под самый потолок. А какие откормленные воли стоят в больших стойлах за корпусами винокуренного завода, с завидным аппетитом уничтожая остро пахнущую брагу. Удивительный, сказочный мир!

Вскоре у меня появился еще один приятель — Кузька. Его отец тоже работал на винокурне. Кузька паренек был заметный — силач, на одной ноге у него было шесть пальцев. К тому еще большой мастер ловить рыбу удочкой, а то и просто рубахой. Благодаря ему я впервые взял в руки удочку (у нас в местечке не было реки).

А Витька учил меня плавать. Вечером я ездил с ними в ночное. На костре мы пекли картошку и кукурузные початки, снятые с ближних огородов, — их вкус я до сих пор ощущаю во рту...

Однажды дедушка в моем присутствии сказал дяде и тете, что я уже стал заправским мужиком и собираюсь остаться у них в деревне, буду, мол, работать на земле, а в местечко возвращаться мне не хочется.

Я знал, что он шутит, но про себя подумал: окажись так на самом деле, это было бы совсем не плохо. Во всяком случае, мне хотелось пожить в деревне подольше.

Незаметно пролетела эта первая счастливая неделя.

Стою я однажды с удочкой на берегу реки Васильевской и наблюдаю, как Кузька ловит одну рыбку за другой. Вдруг вижу — мчится к нам во весь дух Витька, кричит, размахивает руками:

«Беги скорее домой, дед зовет тебя! Быстрее!»

Зачем я так срочно понадобился деду? Он же меня только что видел...

Я отдал Кузьке удочку и стремглав побежал к дому дяди. У заводских ворот еще издалека заметил я дядю, тетю и рядом с ними высокую фигуру дедушки в сером пыльнике и картузе, съехавшем назад, как бывало обычно, когда дед становился рассеянным. Возле дедушки стоял стражник. Мы с Витькой немного замедлили шаг. Что там происходит?

«Вот тот, — сообщил мне на ухо Витька, — урядник из волости. Все здесь, на хуторе, кроме Софрона, боятся его. Он может так ткнуть кулаком, что небо с овчинку покажется».

Урядник — высокий, плечистый детина с закрученными кверху усами, штаны свисают, точно мешочки, поверх начищенных сапог, на боку шашка и револьвер. Спереди два толстых красных шнура крест-накрест перетягивают живот в поясе.

Когда мы приблизились, я услышал, как урядник сердито выговаривал дедушке:

«Ты же, Иоська, хорошо знаешь, что вашим запрещено бывать здесь, в деревне. У вас нет правожительства! И все же ползете, ползете, как клопы! Сказано было раз и навсегда: запрещено! Нужно же иметь совесть! А вы, болваны, — повернулся он к стоявшим тут же крестьянам, — видите — жид вертится в деревне, приди в волость, заяви. Так нет! Молчат, канальи! Язык у них отнялся...»

Босой, средних лет крестьянин, стоявший к уряднику ближе других, сказал:

«Нам, ваше благородие, он не мешает».

Урядник вскипел:

«Тебе он не мешает? Тебе, мерзавец, он не мешает?! Погоди, я до тебя еще тоже доберусь! Думаешь, не знаю, о чем болтаешь в винокурне с мужиками?»

Тем временем откуда-то прибыла крестьянская повозка и остановилась неподалеку от нас. Из дома вынесли дедушкин узел, где были все наши вещи, — мы ведь ехали сюда не на один день, — и еще подарки, которые дядя Мойше-Лейб и тетя приготовили для нас.

«Ну, — обратился ко мне дедушка, — ты, малец, явился как раз вовремя! Я-то ладно, я у нашего батюшки царя не заслужил права пожить несколько дней в деревне у сына, но ты пока еще, кажется, не опасен для властей, ты же еще пока что имеешь привилегии. Разве не так, господин урядник, ваше благородие? У него же еще есть правожительство, пока он не подрастет? Разве не так, ваше благородие?»

«Оставайся, оставайся», — подмигнул мне Витька.

«Я тебе сейчас останусь! — заорал на Витьку урядник. — А ну, геть отсюда!»

Витька пустился со всех ног бежать, успев все-таки крикнуть:

«Приезжай!»

«Он придет, придет, — проговорил дедушка, глядя вслед убежавшему Витьке, — придут лучшие времена...»

Урядник торжествующе-веселым взглядом окинул деда, хмыкнул и покачал головой. Взял у дяди папиросу и, закурив, сказал:

«Те времена, Иоська, о которых ты говоришь... Долго тебе придется ждать их...»

Дедушка ничего не ответил. Тут дядя отозвал урядника в сторону, что-то сказал ему, и они оба направились к дяде в дом, откуда довольно долго не появлялись. Когда урядник наконец вышел, лицо его лоснилось от удовольствия, влажные глаза весело блестели, он облизывался и, как мне показалось, руку ни на секунду не вынимал из кармана мундира, словно все время что-то нащупывал там. Подошел к дедушке и, снисходительно глядя на него, зарокотал:

«Значит, так, Иоська, по законам Российской империи я должен тебя выслать по этапу. На будущее, чтобы ваши помнили, где вам можно быть, где нельзя. Но знай мою доброту... Убирайся отсюда побыстрее, а случись еще раз — смотри!»

Мы отправились в обратный путь.

И снова потянулась длинная проселочная дорога. За церквушкой погост с крестами, затем поле, где под жарким солнцем зрела золотистая рожь. А на душе было тоскливо, тяжело. И я тайком, чтобы никто не видел, плакал.

Вот это и было «правожительство»!

Не знаю, поняла ли Вика всю суть этого старого, отжившего слова.

— Да, — пожала она плечами, — но...

— Что «но»?

Нет, ей все-таки не понятно было, почему дедушка и я не могли погостить в Васильевском хуторе, почему сам урядник явился, чтобы прогнать нас. Другие там могли находиться, а я с дедушкой — нет.

— Почему?

Когда мы приблизились, я услышал, как урядник сердито выговаривал дедушке:

«Ты же, Иоська, хорошо знаешь, что вашим запрещено бывать здесь, в деревне. У вас нет правожительства! И все же ползете, ползете, как клопы! Сказано было раз и навсегда: запрещено! Нужно же иметь совесть! А вы, болваны, — повернулся он к стоявшим тут же крестьянам, — видите — жид вертится в деревне, приди в волость, заяви. Так нет! Молчат, канальи! Язык у них отнялся...»

Босой, средних лет крестьянин, стоявший к уряднику ближе других, сказал:

«Нам, ваше благородие, он не мешает».

Урядник вскипел:

«Тебе он не мешает? Тебе, мерзавец, он не мешает?! Погоди, я до тебя еще тоже доберусь! Думаешь, не знаю, о чем болтаешь в винокурне с мужиками?»

Тем временем откуда-то прибыла крестьянская повозка и остановилась неподалеку от нас. Из дома вынесли дедушкин узел, где были все наши вещи, — мы ведь ехали сюда не на один день, — и еще подарки, которые дядя Мойше-Лейб и тетя приготовили для нас.

«Ну, — обратился ко мне дедушка, — ты, малец, явился как раз вовремя! Я-то ладно, я у нашего батюшки царя не заслужил права пожить несколько дней в деревне у сына, но ты пока еще, кажется, не опасен для властей, ты же еще пока что имеешь привилегии. Разве не так, господин урядник, ваше благородие? У него же еще есть правожительство, пока он не подрастет? Разве не так, ваше благородие?»

«Оставайся, оставайся», — подмигнул мне Витька.

«Я тебе сейчас останусь! — заорал на Витьку урядник. — А ну, геть отсюда!»

Витька пустился со всех ног бежать, успев все-таки крикнуть:

«Приезжай!»

«Он приедет, приедет, — проговорил дедушка, глядя вслед убежавшему Витьке, — придут лучшие времена...»

Урядник торжествующе-веселым взглядом окинул деда, хмыкнул и покачал головой. Взял у дяди папиросу и, закурив, сказал:

«Те времена, Иоська, о которых ты говоришь... Долго тебе придется ждать их...»

Дедушка ничего не ответил. Тут дядя отозвал урядника в сторону, что-то сказал ему, и они оба направились к дяде в дом, откуда довольно долго не появлялись. Когда урядник наконец вышел, лицо его лоснилось от удовольствия, влажные глаза весело блестели, он облизывался и, как мне показалось, руку ни на секунду не вынимал из кармана мундира, словно все время что-то нащупывал там. Подошел к дедушке и, снисходительно глядя на него, зарокотал:

«Значит, так, Иоська, по законам Российской империи я должен тебя выслать по этапу. На будущее, чтобы ваши помнили, где вам можно быть, где нельзя. Но знай мою доброту... Убирайся отсюда побыстрее, а случись еще раз — смотри!»

Мы отправились в обратный путь.

И снова потянулась длинная проселочная дорога. За церквушкой погост с крестами, затем поле, где под жарким солнцем зрела золотистая рожь. А на душе было тоскливо, тяжело. И я тайком, чтобы никто не видел, плакал.

Вот это и было «правожительство»!

Не знаю, поняла ли Вика суть этого старого, отжившего слова.

— Да, — пожала она плечами, — но...

— Что «но»?

Нет, ей все-таки не понятно было, почему дедушка и я не могли погостить в Васильевском хуторе, почему сам урядник явился, чтобы прогнать нас. Другие там могли находиться, а я с дедушкой — нет.

— Почему?



идел я однажды у моего соседа, кузнеца

Тевье Бубеца — одного из тех, кто принадлежит к старой гвардии хабаровского дизельного завода. Низенькая подвижная Бубециха готовила угощение, а Тевье тем временем позвонил по телефону зятю. В трубке послышалось, как тот строго кашлянул и затем басовитым голосом человека, который знает себе цену, сказал:

— Да. Геннадий Осипович Шпак слушает!

— Если сам Геннадий Осипович Шпак слушает, — Тевье подмигнул мне, — я бы попросил его потрудиться и вместе со своей супругой пожаловать к нам... Почему так срочно? Придешь — узнаешь... Когда? Хоть сейчас.

Я знал немного этого Шпака. Мы с ним «здрасьте — до свиданья» — и все... Довольно рослый, с солидным брюшком для своих тридцати с небольшим лет. У него широкое, круглое лицо, большие очки в черной оправе, сквозь которые он смотрит на все его окружающее как бы сверху вниз. Сюда, в этот дом, он приезжал не чаще, чем два раза в год, в дни самых больших празднеств. И особенно долго, когда бывал, не засиживался, — очевидно, с тестем и его гостями говорить ему было не о чем.

Вскоре явился Геннадий Осипович со своей чернявой расторопной женой, выросшей на моих глазах в этом доме. По профессии она экономист, работает у нас

на заводе. С важной степенностью Шпак снял с себя молочно-белый дождевик, передал его теще, глянул сквозь очки сверху вниз на сидящих в комнате и сел к столу, вернее, не сел, а присел с галантно-вежливым, отсутствующим выражением на лице. В душе я испытывал к этому человеку не слишком много симпатии. Я встал, собираясь уходить, но тут сам хозяин крепкими руками кузнеца «пригвоздил» меня опять к мягкому дивану, на котором я сидел, и, повернувшись к зятю, сказал мягко, с едва уловимой иронией:

— Ну, как делишки, Геннадий Осипович?

Шпак сидел, не разжимая плотно сжатых губ; казалось, он сомневался, стоит ли вообще отвечать.

— Как делишки? Готовлю со своими помощниками ваку. Обыкновенный гуталин для обуви.

Такой ответ означал, что Геннадий Осипович, техник местного кирпичного завода, вовсе не намерен пускаться в какой-либо серьезный разговор...

Тем временем Бубециха поставила на стол несколько бутылок вина собственного изготовления — крепкую настойку из дикого дальневосточного винограда. Когда выпили по первой рюмке, Тевье сказал, обращаясь к зятю и дочери:

— Вот что, детушки. Мы со старухой решили ехать домой.

Никто за столом этим словам не удивился. Все знали — едва кузнец вышел на пенсию, он стал поговаривать о том, чтобы ехать «домой», в Овруч, откуда много лет назад приехал сюда. И почему-то многие считали, что говорит он это несерьезно, так только, «гусей пугает». Так и говорили: «Никуда он отсюда не уедет!» Сейчас его слова задела меня за живое.

— Значит, — стараясь говорить колко, заметил я, — Дальний Восток тебе уже не по праву? Он, может, у тебя в большом долгу?

Тевье выслушал меня спокойно, покачал головой.

— Дальний Восток не в долгу у меня, и я тоже, наверно, перед ним не должник. Тридцать лет, как один день, отмахал в кузнечном цехе на нашем заводе — честно, ни от кого никогда замечания не слышал. Ты же знаешь! Но на старости хочется пожить с детьми, которые остались там, поглядеть на внуков. — От волнения он растопырил пальцы, и в глазах его зажглись искорки. — И потом, кроме всего, это «батькивщина», как говорит мой тезка Тевье-молочник... Тем более если наше правительство, дай бог ему здоровья на долгие годы, дало мне возможность на старости лет доставить себе и такое удовольствие...

Я взглянул на Шпака — тот сидел, будто окаменев, холодный, равнодушный.

— Так вот, — продолжал старик, — я хочу дом пока оставить на тебя с Рахилью. Мало ли что может случиться на старости лет. Одним словом, если сюда больше не вернусь, дом переходит к вам в наследство.

При слове «наследство» под Шпаком тяжело заскрипел стул. Рахиль покраснела.

— Наследство, — с ноткой досады в голосе отозвалась она, — ты мне оставишь через сто двадцать лет!..

— Тогда все ясно, — тихо промолвил Тевье. — Дом вам, значит, не нужен.

Шпак искоса буравил жену взглядом и молчал.

— Отец, ты же знаешь, — продолжала Рахиль, — у нас неплохая квартира, и, кроме того, мы стоим в списке на получение жилья со всеми удобствами в новом заводском доме, а здесь уголь, воду таскать из колонки, то, се...

— Хорошо, вот ты, — обратился ко мне Тевье, — председатель уличкома, к тому же старый и хороший наш сосед, ты свидетель: им не нужен этот дом, — тогда я поступлю, как сочту нужным...

В этот момент Шпак так больно придавил под столом своей ногой мою, что у меня потемнело в глазах, — ясно,

он ошибся и, предназначая этот скрытый выпад против жены, малость промахнулся.

— Та-та-та! — неожиданно затараторил он. — Не горячитесь, прошу вас, не горячитесь так оба! Вы сказали, что хотите нам оставить дом, передать его в наследство или подарить — все равно, как бы это ни называлось, — большое спасибо вам. Мы с Рахилью подумаем. Возможно, что очень и очень дельное предложение...

Мне не хотелось больше быть при этом семейном разговоре, и я вышел на улицу. Присел на крылечке своего дома, чтобы немного остыть. Вскоре во дворе появились Шпак с женой; я еще никогда не видел его таким раздраженным, он шипел, как индюк.

— Что с тебя взять, с коровы этакой! Будто не знаешь старика с его замашками! Выкинет какой-нибудь номер с домом со своим, будет для кого-то добрый, хороший, а тебе дулю под нос...

Что ему ответила жена, я не расслышал. До меня опять донесся злой, ворчливый бас Шпака:

— Собственный дом — он и есть собственный... Огород, сад, сливы... Отец твой совсем рехнулся, отдает груши и сливы бесплатно в детский сад... Не иначе, как рай хочет себе заслужить... Ему, конечно, говорят спасибо... Да слушай, что говорят тебе! Если старик и в самом деле надумал ехать «домой» и не крутит мозги, как всегда, скажи, что хочешь дом для нас... Слышишь? Нам полагается по закону...

— Иди и скажи, — ответила Рахиль раздраженно. — Мне дом не нужен.

Спустя некоторое время я узнал, что Геннадий Осипович назавтра опять пришел к тестю — уже один — и от имени Рахили попросил им оставить дом. Тевье ответил согласием, но строго наказал зятю:

— Детишки из детсада, что тут по соседству, пусть играют в моем саду, как и теперь. Смотри не трожь ка-

цели и горки, которые я для них сделал. Я ведь тебя знаю!

— Все будет в полном порядке, — заверил Тевье обрадованный Геннадий Осипович. Еще бы не обрадовать-ся... Он станет обладателем прекрасной дачи!

Вся наша улица очень тепло и сердечно простилась с Тевье и его женой. В недавно построенном Дворце культуры дали прощальный ужин, преподнесли Тевье подарок, просили не забывать старых друзей, с которыми он прожил столько лет, а если потребуются на обратный путь деньги, за этим дело не станет!

Шпак не медлил, к лету перебрался в дом тестя — на «дачу».

...Из моего окна мне было видно, как этот новоиспеченный домовладелец расхаживал во дворе, обшаривал и обнюхивал каждый уголок, щупал каждую вещичку, оставшуюся после отъезда тестя, в доме или чулане. Он то и дело самодовольно кричал жене с веранды:

— Рахиль, ты видишь? О-го-го! Это еще как пригодится!

Не теряя времени, он стал «приводить в порядок хозяйство», которое, по его мнению, до того было брошено на произвол судьбы. На нашей улице у дворов вы, кроме низкого штакетника, ничего больше не увидите. Высоких заборов не было и нет. Никто ни от кого не отгораживается. А Шпак незамедлительно привез машину горбыля. По вечерам во дворе, где раньше жили Бубецы, застучал топор. Кто бы мог подумать, что Геннадий Осипович Шпак в этих своих обшарпанных, «рабочих» брюках, со своими никудышными руками, которые, казалось, не способны даже гвоздик вбить, помаленьку да потихоньку, доска к доске, возведет глухой забор, намного превышающий рост самого хозяина, а Шпак довольно высок ростом. Он наглухо закрыл выход к детскому саду...

— Пусть галдят на своей территории, — говорил он.

Вначале на нашей улице он поддерживал отношения лишь со мной: во-первых, я был ближайшим его соседом, во-вторых, председателем улличкома. Едва увидит вечером, как я иду мимо, отложит топор в сторону, подойдет к штaketнику и заведет беседу. Человек мелкий, он, очевидно, в душе своей таил страх перед всяким начальством, какого бы ранга оно ни было. Он все пытался выяснить, какие привилегии дает мне моя общественная должность и как велика примерно та власть, которой я располагаю... Ему хотелось с моего согласия увеличить свой участок еще за счет улицы — там же ничейная земля!

И еще:

С первых же дней, как он поселился на «даче», его не покидало беспокойство. Плодовые деревья в саду, которые оставил ему тесть, ломились под тяжестью груш, слив, а сколько уродилось малины, смородины... Какое богатство! Это же все разворуют.

— Все растащат, — то и дело говорил он мне.

— А кто будет растаскивать? — спрашивал я. — Кому это нужно? У всех есть свое.

— Кто? — шипел он в ответ. — Да вот эти сопляки, которые вертятся здесь. Тут недавно я одного застал верхом на заборе! А взрослые эти ваши, думаете, не будут красть?

— Ну, держите собаку!

— Собаку! — произнес он с горькой иронией и покачал головой. — Собака для них не помеха. Они могут отравить ее. Здесь нужно придумать что-то другое...

И что же вы думаете? Он придумал «что-то другое»...

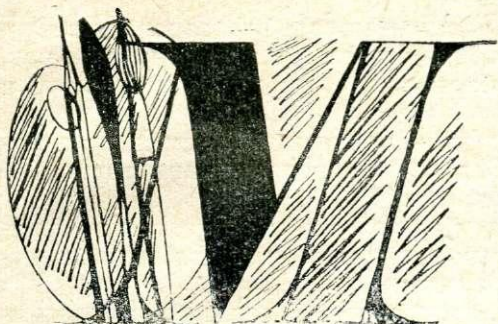
По вечерам, когда уже совсем стемнеет, он осторожно, неслышными шагами, — мне было хорошо видно с моего крыльца, — крался вдоль забора, в одной руке зажав ведро, в другой — рогожную щетку.

Окунет кисть в ведро, мазнет верхушку забора, оглядится и опять мажет. Я никак не мог понять, чем он там

мажет, для чего. Как-то раз из любопытства дотронулся рукой, и тут меня обожгло. Какая-то ужасная кислота, черт его знает, этого «химика»! И это все для того, чтобы, упаси бог, мальчишка не перелез к нему в сад через забор да не полакомился сливой...

В сад к Шпаку никто не лезет, как не лезли и прежде, когда там жили Бубецы. Но кое-что ему все же подстроили.

Соседи, посылая Бубецу в Овруч письмо, как бы между прочим передали привет от его зятя и их нового соседа Геннадия Осиповича и приложили фотографию: высокий глухой забор, из-за которого едва виден край шиферной крыши. Забор совсем заслонил построенный Тевье дом, где он много лет прожил в ладу и мире со всеми соседями на своей улице.



1

ара, вернувшись
из краевого цен-

тра, где она участвовала в конкурсе парикмахеров, в своем почтовом ящике нашла открытку от Мили Гулько, которая раньше жила в соседнем доме. Миля писала, что собирается на несколько дней приехать «домой». Восемь лет не была она «дома» и, конечно, соскучилась.

Об открытке Мара сообщила двум-трем старым соседям, что еще помнили Милю: Гримза приезжает! Прозвище «Гримза» Миле дали здесь, во дворе. И никто толком не знал даже, что оно означает и откуда вообще взялось.

Летнее субботнее утро. Несколько молодых загорелых мужчин сидят в майках за столом в тени разросшихся тополей, играют в домино и то и дело бросают взгляды на красивую, рослую двадцативосьмилетнюю Мару. Из поездки она на этот раз вернулась в яркочерном платье, с ниспадающими на плечи золотистыми крашеными волосами. Не было и в помине ее высокой прически, как и черных волос.

Кто-то из игроков, постукивая в такт костяшкой, пропел под нос: «Гримза, Гримза, Гримзале!» Что это за шутка?

За минувшие восемь лет многие выехали со двора, а новым жильцам слово «Гримза» ни о чем не говорило. Из давних обитателей двора здесь были сейчас лишь Ямчик Куричер, долговязый парень с густыми черными

курчавыми бакенбардами — молодой филолог из института усовершенствования учителей, Ама Абрамовна, или, как ее прозвали, «баргузинка», коренная сибирячка, и еще кто-то.

— Девуца на славу! — подмигнул Ямчик и оглянулся — не слышит ли Белла, его молодая ревнивая жена? — Это девушка из Песни песней!

Пожилая полная «баргузинка» с бесцветными, жидкими бровями и белым пушком на румяных щеках недоуменно уставилась на него:

— Он вам такое наговорит... Местная она. Биробиджанка.

Кто-то пошутил:

— Так это, Ямчик, девушка не из библейской Песни песней, а из Биробиджана.

Один из сидевших за столом, молодой человек с черной щетинистой бородкой и трубкой в зубах, стал допытываться, красива ли Гримза.

Ямчик закусил нижнюю полную губу и сдвинул брови, словно что-то припоминая.

— Нет, — наконец ответил он.

Мара усмехнулась:

— Да он в нее по уши был влюблен!

За столом стало оживленно.

— Вот оно что, Ямчик? Нужно сказать об этом Белле...

«Баргузинка» печально покачала головой.

— Тоже мне, «домой»... А дом, где она жила со старухой, недавно снесли!

Мара открыла сумку, вынула ключ и протянула «баргузинке».

— Она еще может сегодня приехать, а я работаю во вторую смену.

— Так ей, видно, из-за этого еще придется на улице ночевать! — обиделась «баргузинка».

Мара пояснила с мягкой улыбкой:

— У меня, Ама Абрамовна, ей будет удобнее. И потом — нам нужно о многом, об очень многом с ней поговорить!

Ямчик, занимавший с женой однокомнатную квартиру в новом кирпичном доме в этом же дворе, сказал вполголоса:

— Да, разумеется, никакой проблемы здесь нет.

Мара встала и не спеша, покачивая бедрами, пошла вперед. А оставшиеся, те, кто еще помнили Милю, прикидывали, сколько же ей сейчас лет.

— Не меньше двадцати шести, — предположил кто-то.

— Чего же она ждет?

— Так это же Гримза.

Полное лицо «баргузинки» расплылось в улыбке.

— У меня на подоконнике еще до сих пор стоят ее глиняные кошки...

2

Свыше месяца молодой скульптор Миля Гулько вместе со студентами Приморского училища живописи пробыла на путине в рыболовецком поселке под Николаевском-на-Амуре, прекрасном уголке на берегу лимана, у подножия лесистых сопок, откуда в погожие дни в голубоватой дымке видны очертания Сахалина. На путине работа нелегкая. Дни напролет люди проводят в цехах рыбоперерабатывающего завода, что находится наполовину на берегу, наполовину в воде. Потрошат крупную кету. Ее моют, солят и укладывают в огромные чаны со льдом. Однако как там весело! Из разных уголков страны приезжают на путину. Там были и два молодых литовских писателя из Вильнюса, они собирались написать книгу о Дальнем Востоке и даже предлагали Миле сделать иллюстрации к будущей книге; был художник из Хабаровска, постоянно вертевшийся возле молодой

докторши с рыбзавода и не скупившийся на комплименты, дабы заполучить немного спирту; юная певица, подражающая Пъехе, и ее пожилой аккомпаниатор, получивший от местных жителей прозвище «пианист-заготовитель», — он уже успел переправить домой немало посылок с красной икрой и копченой рыбой. Был еще и молодой кинооператор из иркутской телестудии.

Улов в этом году выдался богатый. Старожилы поговаривали, что давно уже не помнят такого улова. Студенты трудились, не жалея сил, и неплохо заработали; у Миля тоже время не пропало даром: в ее блокнотах накопилась целая коллекция эскизов, зарисовок и портретов рыбаков и работниц рыбзавода. Вот средних лет женщина в ватнике и в черном платке, волевое скуластое лицо, концы платка разлетелись в стороны от разбушевавшегося морского ветра, именуемого в народе «сахалинцем», глаза женщины устремлены в море, — Миля решила с портрета сделать скульптуру из дерева или из мрамора во весь рост. Иные скульптуры она лепила из глины — один из местных, старый «морской волк», пенсионер, указал ей на участок поля за его домом, где была глина. И какая глина! Работать с ней сплошное удовольствие.

В конце августа отряд завершил работу на путине. Студенты из Николаевска самолетом улетели в Приморск, а Миля решила плыть в Хабаровск на теплоходе и оттуда на несколько дней заглянуть в родной город — Биробиджан. В Хабаровске ей хотелось побыть хотя бы несколько часов: во-первых, там сейчас был Казик Вайнберг, приехавший на семинар военных дирижеров, и, во-вторых, на зональной выставке сибирских и дальневосточных художников экспонировались две Милины скульптуры — «Виталий Бонивур» и «Иосиф Бумагин». Казик прислал ей вырезки из краевых газет с сообщениями о выставке; несколько строчек были отведены и ей, Миле. Не раз с бьющимся сердцем перечитывала она

эти строки, желая отыскать в них чуточку больше того, что там было сказано. Неожиданно ей очень захотелось посмотреть, как выглядят ее скульптуры в светлом и просторном зале хабаровского выставочного салона.

Миля радостно просияла, когда заметила на берегу среди встречавших плотную фигуру Казика в парадной форме морского офицера, с букетом цветов в руках. «Милый, милый Казик!» Там, на путине, ей стало ясно: она любит этого парня с черными строгими глазами, который вот уже скоро год ходит за ней, словно тень.

Взволнованная, она подошла к Казику и приникла к его груди. Он хотел обнять ее за плечи, но она легонько отстранила его от себя и с улыбкой заглянула ему в глаза.

— Казик!

Приподнявшись на цыпочки, она несколько раз поцеловала его.

— Я вижу, что путина вовсе не плохо повлияла на тебя, — проговорил со счастливой улыбкой Казик, удерживая в своих ладонях Милены руки и вглядываясь в ее лицо. Ему показалось, что она похорошела еще больше за то время, пока они не виделись. Нынче она была особенно привлекательна.

— Да, — отвечая ему, рассмеялась Миля, — там я, кажется, чуточку поумнела.

Казик взял такси и попросил шофера ехать к гостинице речного флота. В этом новом высоком здании из стекла и бетона разместились участники семинара. Лифт доставил их на восьмой этаж. Поставив посреди комнаты Милин чемодан, Казик подошел к ней и поцеловал ее.

— Миля, — прошептал он едва слышно, хотя, кроме них, в комнате никого не было, — Миля, я не могу больше так, не могу без тебя!

— И я тоже, — тихо ответила Миля.

— Так когда же мы будем наконец вместе? Скажи, что тебя удерживает?

— Сейчас, кажется, ничего...

В дверь постучали. Миля освободилась из его объятий и смущенно повернула голову. В комнату четкой, строевой походкой вошел широкоплечий, средних лет, краснощекий мужчина в морской форме.

Увидав Милю, он смутился и сказал извиняющимся тоном:

— Понимаешь, ребята ищут там шестой марш Иванова-Радкевича...

Взяв со стола большую нотную тетрадь, он той же четкой, строевой походкой вышел из комнаты. Миля и Казик переглянулись. Обоим вдруг стало смешно.

— Принесла нелегкая! — засмеялся Казик.

— Но какая модель! — удивлялась Миля. — Его нужно лепить так: в мощных ручищах труба, щеки надутые — вот такие! — Она широко расставила ладони. — Глаза навывкате. Бум-бум, пам-па-ра-рам!

— А он играет на самом нежном инструменте — на флейте пикколо, — сквозь смех проговорил Казик.

Миля подошла к зеркалу и поправила прическу. Наблюдая в зеркале за Казиком, она невольно подумала: как приятно и радостно, что день, когда она навсегда останется вместе с ним, возможно, совсем близок.

— Я хочу до отхода поезда побывать на выставке, — сказала она.

Они вышли на улицу. День выдался теплый, даже жаркий, хотя август был уже на исходе. Многоэтажные здания, громоздившиеся вверх, одно выше другого, казалось, купались в солнечных лучах и прозрачной синеве. В этом большом городе на Амуре Казик был впервые, да и Миля была здесь раньше всего два раза: один раз — с экскурсией школьников, в другой раз — на слете молодых строителей, когда она работала в строительном тресте. Обоим город сейчас казался праздничным, уютным, приветливым. Два рослых русоволосых парня, подстриженных под бокс, с перекинутыми через плечо

фотоаппаратами, стояли у входа в сквер, возле киоска, и мельком оглядывали прохожих. Заметив Милю, они весело помахали ей рукой и с любопытством перевели взгляд на ее провожатого. Миля тоже помахала им рукой.

— Наши, с путины, — объяснила она Казику. — Молодые писатели из Литвы.

В вестибюле выставочного салона Милю охватило волнение. Прежде всего нужно было увидеть, как смотрятся здесь, на выставке, ее «Бонивур» и «Бумагин».

— Идем! Идем! — торопила она Казика, остановившегося в узком проходе возле одной из акварелей. — Это потом! Потом!

Они поспешно миновали один зал, другой, третий. А вот и они, ее скульптуры. Стоят на деревянных крашенных тумбах, покрытых темно-красной тканью. В первое мгновение Миле показалось, что соседние картины и скульптуры и вообще весь этот праздничный, многокрасочный фон прибавили ее работам что-то новое и очень значительное. Как будто лишь здесь, в этом окружении, они действительно проявили себя как произведения искусства. Но чем дольше она смотрела на них «чужими» глазами, заходя с разных сторон, тем меньше находила в них глубины или того, что называется «вторым планом». Конечно, надо полагать, они имеют какую-то ценность, если отборочная комиссия (чрезвычайно строгая) взяла их для зональной выставки. Но теперь ей вдруг стало окончательно ясно: поворот головы у Бонивура нужно было сделать в другом ракурсе. Кажется, недостаточно ярко выражен богатый духовный мир этого молодого пламенного революционера...

Из соседнего зала появилась группа молодежи с экскурсоводом. Женщина-экскурсовод принялась вкратце рассказывать о молодых художниках, чьи полотна висели здесь. Чуть дольше она задержалась у небольшой серии гравюр «Тайга зимой». Эта серия привлекла вни-

мание и Мили. То была чудесная пейзажная сюита, как бы представлявшая собой изумительную сказку, сотканную в черно-белых узорах. И тут Миля услышала свое имя. Экскурсовод упомянула что-то о «штрихах романтической окрыленности в работах молодого талантливого дальневосточного скульптора Эмилии Гулько». «Вы видите здесь два поколения героев...»

Хорошие отзывы о своих работах Миле уже приходилось слышать не раз — и в Ленинграде, и у себя в Приморске. И все же она вся напряглась, даже приподнялась на цыпочки, боясь пропустить хоть одно слово.

Сейчас уже можно было посмотреть и другие работы. Особенно интересовали Милю те немногочисленные скульптуры, что были представлены в залах. Она пришла в восторг от деревянного «Журавушки». Это был дебют в скульптуре одного из старейших местных графиков. Без сомнения, дебютант отлично владел резцом, дерево, побывав в его руках, словно обрело дар речи. Здесь было еще несколько интересных работ, выполненных в тонированном гипсе.

На улице Миля поделилась с Казиком своим мнением о выставке:

— Сколько талантов!

И, помолчав, добавила:

— Нашему цеху нужно как следует подтянуться, пока что его уровень значительно ниже уровня работ дальневосточных живописцев и графиков.

Они зашли в ресторан «Уссури» и сели за боковой столик. Казик заказал шампанское.

— За твои грядущие успехи, милый скульптор! — сказал он, поднимая рюмку. — И за твое счастье!

— И за твое тоже!

Миле хотелось рассказать ему историю создания обеих ее скульптур. Когда она училась в восьмом классе, ее одноклассники, и она в том числе, предприняли тури-

стический поход по историческим местам Дальнего Востока, посетили также и могилу Бонивура. Уже в то время она хотела быть среди тех, кто способен, кто может вдохнуть жизнь в кусок камня или глины. Образ молодого бесстрашного героя гражданской войны надолго захватил ее воображение... А Иосиф Бумагин — он же ее земляк, биробиджанец! Его фотографию она впервые увидела в одном из цехов завода Дальсельмаш. Портрет висит на стене и рядом станок, за которым будущий Герой Советского Союза работал до войны. Ей запомнилось умное, с приятной улыбкой лицо молодого рабочего. Обе эти скульптуры она создавала, будучи еще студенткой репинского института.

До отхода поезда оставалось достаточно времени, и они направились в парк, выходящий к берегу Амура. С крутого берега открывался великолепный вид на широкий Амур, по которому, вспенивая зеленовато-желтые волны, проплывали ослепительно белые пароходы и груженные лесом баржи. Далеко на горизонте в прозрачной синеве неба виднелись ажурные перила большого железнодорожного моста, открывающего путь в город. Под ногами шуршали пожелтевшие листья, но деревья вокруг, спокойные, безмятежные, с равнодушием глядели вниз, на упавшую, увядающую листву. Миля и Казик стояли на берегу, охваченные каким-то неизъяснимым радостным чувством. Миле припомнилась их первая встреча.

Впервые она увидела Казика в соседнем с Приморском городе, на экспериментальном фарфоровом заводе. Он всего лишь на день приехал туда, чтобы повидаться со старшим братом, главным инженером, а она, Миля, знакомилась с технологией изготовления фарфора — в то время она увлекалась керамикой. Казик, должно быть, сразу обратил внимание на невысокую, коротко стриженную девушку, которую его брат водил по цехам, что-то объясняя ей и показывая.

— Кто это? — спросил он, когда девушка на минуту отлучилась к обжиговым печам.

Старший брат, как и Казик, крепыш, лет тридцати пяти, очень похожий на младшего, ответил, пряча усмешку:

— Молодой скульптор из Приморска. Пойдем, я тебя с ней познакомлю.

— Вы спрашиваете, что представляет собой фарфор? — говорил ей главный инженер. — Химик вам бы ответил, что это кровный брат обыкновенного кирпича, но более ценный, благородный. Он царит во всей керамической промышленности. Технолог вам скажет, что фарфор делают из белой глины, розового дацита, риолита и чистого кварца. Весь этот материал проходит семьдесят сложнейших операций. Три раза обжигается в печи, один раз — в течение полутора суток, при температуре 1380 градусов. При такой жаре многие металлы плавятся, а фарфор становится белоснежным, прозрачным и даже мелодичным.

Он взял со столика фарфоровое блюдо и легко постучал пальцем по донышку. Блюде нежно зазвенело.

— Для вас, скульптора, — продолжал он, — нет материала более пластичного, податливого, чем эта желтовато-белая фарфоровая масса. Из нее можно вылепить, например, листья розы, покрытые росой. А рисунки, которые наносит на фарфор художник, могут сотни лет сохранять нетронутую свежесть.

На прощанье главный инженер подарил Миле розовую чашечку и блюдо с золотистым ободком.

— Ну, а рисунки вы уже сделаете сами, какие захотите, — улыбнулся он, — как вам подскажет ваша творческая фантазия.

В лаборатории Миля взяла на память несколько дацитовых и риолитовых камушков и поспешила к автобусу.

Совсем неожиданно для брата заторопился и Казик. Он нагнал Милю за воротами завода.

— Я нарочно ушел вслед за вами, — сказал он, — мне вдруг стало страшно: вот вы уедете, и я вас больше никогда не увижу!

Тогда-то Миля и узнала, что он несколько лет назад окончил Московскую консерваторию, теперь дирижирует в Доме офицеров флота военным оркестром и преподает в институте культуры, на отделении духовых инструментов.

В тот раз Казик проводил ее до художественно-графического училища, где она временно поселилась в отдельной комнатухе.

Он еще немного помешкал на улице, глядя на большие окна старого четырехэтажного дома из красного кирпича, построенного в прошлом веке, все пытаясь угадать, за которым из окон находится сейчас эта девушка с чуть удлинненными умными карими глазами и пухлым ртом. Затем отправился домой с каким-то неясным, смутным ощущением, что сегодня в его жизни случилось нечто особенно значительное.

Вскоре они встретились случайно на «Голубиной сопке». Было это в День Победы. Сюда пришли тысячи жителей Приморска. Миля никогда еще не видела более живописного и прелестного уголка. Как на ладони лежала лазурная бухта Золотой Рог. Неожиданно возле нее вырос тот самый парень, с которым она познакомилась на фарфоровом заводе. Он был не один, а с высокой молодой женщиной, лет тридцати, одетой в кожаный светло-коричневый дождевик. На голове у нее была песочного цвета вязаная шапочка, очень шедшая к ее свежему, полному лицу и серым глазам. Это была жена старшего брата Вероника, инженер-строитель.

— Гулько! Миля!

Вероятно, столько радости прозвучало в голосе, произнесшем ее имя, что женщина дружелюбно и с любо-

пытством взглянула сначала на Казика, затем на девушку.

— Казик заметил вас, — говорила она, пожимая Миле руку, — и потащил меня к вам: «Идем, это моя давняя знакомая, мы можем еще потерять ее из виду...»

Миля не предполагала, что эта неожиданная встреча так обрадует ее.

— У моряков, — улыбаясь, сказала она, — понятие о времени, очевидно, несколько иное, чем у нас, простых смертных. — И, вглядевшись в лицо Вероники, добавила: — А вы, наверно, коренная дальневосточница...

— В третьем или четвертом поколении. А как вы угадали?

— Есть что-то такое общее в лицах жителей Дальнего Востока, это сразу бросается в глаза.

— Талантливый скульптор, — вставил Казик, — умеет разбираться в физиономиях.

— Откуда вы знаете, что талантливый?

— О, у меня есть на это свои приметы...

Вероника участливо взяла Милю под руку.

— Милечка, идемте с нами в ДОФ¹. Сегодня оркестр Казика будет играть марши и польки, надеюсь, мы неплохо проведем время.

Миля согласилась. Веселая и непосредственная Вероника сразу пришлась ей по душе.

Миля вспомнила, как в первый раз увидела Казика в белоснежном кителе с серебряными нашивками на рукавах. В черных глазах торжественная, благородная строгость, почти как у дирижера Ленинградского академического симфонического оркестра Мравинского!

Казик у тоже было о чем вспомнить. Он хорошо помнил тот день, когда впервые был в общегитии у Миля. Заметив на окне и столике цветные бруски пластилина, он ради шутки стал лепить человеческую головку. Миля,

¹ Дом офицеров флота.

стоя сзади, смотрела, как он «мучает» пластилин. Затем взяла из его рук головку и дотронулась в нескольких местах обыкновенной спичкой. Мертвая голова вдруг ожила, лицо осветилось улыбкой и — самое интересное — приобрело черты Казика.

Однажды Казик привел Милю к себе домой, чтобы познакомить со своей матерью. Его мать стоматолог в городской поликлинике. Высокая, статная женщина с твердым голосом и решительной походкой. Она совсем не плохо выглядит для своих лет, очень следит за собой и гордится тем, что родом из Варшавы. На Дальнем Востоке она вместе с мужем Исидором Вайнбергом, портным-модельером, оказалась во время войны и после его смерти осталась жить в Приморске. Она использовала любую возможность, чтобы говорить по-польски, и старшего сына, хотя у него было и еврейское имя, называла «Франек», а младшего звала певуче-протяжно: «Казимир, Кажмеж, Казик...»

Девушка, которую привел сын, ей сразу не понравилась: не о такой мечтала она для своего Казика! Ее раздражало, когда Миля в ее присутствии, дурачась, нещадно коверкала те считанные польские слова, которым выучилась здесь, в ее доме: «Ясновельможный пан Шельма Козимир» — от слова «коза»! К Миле она относилась сначала внимательно-сдержанно, однако понемногу привыкла и к ней и к ее посещениям и нередко с сочувствием и жалостью думала об этой девушке, выросшей без родителей и, по ее старым варшавским представлениям, не получившей должного воспитания и образования.

...Миля берет в свою жесткую, мозолистую руку длинные и нежные пальцы Казика. Сияющие глаза ее преданно смотрят на него. А он смотрит на нее. О, этот большой смеющийся рот! Уже больше года, как Казик ходит сам не свой. И теперь, кажется, настала эта минута, и место вполне подходящее, чтобы наконец при-

пасть к ее губам. Но как раз в этот миг к их укромному уголку засеменила какая-то старуха в широком табачного цвета балахоне, достигающем земли, на коротком поводке ведет собаку с высокими тонкими лапами и безобразной мордой.

Миля смотрит на часы — скоро приходит поезд. А Казiku так трудно расстаться с ней, но ничего не поделаешь, надо ехать на вокзал. Они направляются к его гостинице. Казiku еще нужно взять Милин чемодан.

На вокзале они узнают, что еще только через два часа отойдет поезд на Биробиджан — «Хабаровск — Чегдомин». Через два часа!

И Миля остается с Казиком еще на целых два часа.

3

В Биробиджане на чегдоминский поезд никто не сажился, зато сколько из него вышло пассажиров! Предпоследний вагон остановился напротив товарной станции. Здесь было тихо и пустынно. Поставив на землю чемодан, Миля смотрела туда, где толпилась основная часть пассажиров. Отсюда открывался перед ней незнакомый краешек города, — очевидно, это новый микрорайон. Что здесь было восемь лет назад? Миля помнит: длинная мрачная ограда, за которую вход посторонним был строго воспрещен. Ей припомнились верхушки развесистых верб, росших вдоль ограды, белые и черные резервуары с нефтью. По ту сторону нефтебазы стояли деревянные бараки, за ними начинались болота...

Она окинула взглядом площадь, прилегавшую к новому автовокзалу. Красивая площадь. Много зелени. Вот здесь, между этой площадью и той густой, тенистой аллеей, хорошо «вписался» бы фонтан со скульптурной детской группой... Миля пошла по перрону вдоль сада, в глубине которого находилось белое кирпичное здание склада. По ту сторону чугунной решетки она заметила

стоймя врытое в землю бревно. словно жидкие волосенки, торчали из него ржавые шляпки гвоздей. Но верхняя часть бревна чем-то обратила на себя внимание девушки. Ага! Сук! Обыкновенный сук, высохший от времени, ветров и дождей. Однако Миля отчетливо разглядела на его поверхности очертания глаза. Она как бы видела почти завершенное лицо — паренек со свисающим на лоб чубом и озорно смеющимися глазами. Он вполне мог бы сойти за сельского гармониста. Не мешкая Миля схватила чемодан и ловко перемахнула через решетку. Правда, вблизи она убедилась, что нужно еще поработать. Например, выразительнее сделать линии пухлого рта... С висков убрать лишнее, округлить подбородок... Вынув из бокового кармашка чемодана один из резцов, она принялась за работу.

В садике повеяло сырой прохладой. От густых тополей и длинной глухой стены склада легли вечерние тени. Работа захватила Милю. Иногда она прекращала ее и всматривалась в бревно, кое-где мягкое, как глина, а местами твердое, как камень. Тонкая, словно паутина, стружка змеилась по земле. Несколько движений резцом — и лицо юноши вдруг ожило на глазах. Вот он уже смеется весело и задорно. Миля отошла назад, прищурила глаза. Сколько времени проторчала здесь эта высохшая колода, мозоля всем глаза. И, оказывается, она прятала в себе этого милого, славного паренька!

Миля и не заметила, что по ту сторону решетки несколько человек с любопытством уже наблюдали за ней. Им, конечно, хотелось узнать, что это там делает девушка в коричневой куртке и голубых брюках. Лишь услышав позади себя громкий возглас, Миля обернулась.

— А, Бенчик!

Да, это он, дворник Бенчик. Ничуть не изменился, такой же низенький, хромой, длиннорукий. Бенчик известный в городе бузотер и скандалист. Теперь, как вы-

яснилось, он срочно привел сюда линейного милиционера.

— Смотри сам! — размахивая длинными руками, кричал он. — Хорошо, что это всего-навсего старое бревно, а если скамья? Все скамейки вокруг вокзала испараны такими вот закорючками: «Лида плюс Митя...»

Бенчик жил когда-то в том же доме, где и Миля с бабушкой. Милиционера она тоже хорошо знала — он учился вместе с ней в вечерней школе.

— А, привет! — обратился он к Миле, узнав ее.

Миля спрятала резец в карман куртки.

— Так ты, значит, Игорек, стал блюстителем общественного порядка? — спросила она.

Милиционер, молодой художавый светловолосый паренек, улыбнулся.

— Как видишь.

Он взял у Мили из рук чемодан и помог ей перебраться через решетку.

— Надолго к нам, Миля?

— Нет, ненадолго, Игорек.

Она стряхнула с брюк стружку.

И тут раздался женский удивленный возглас:

— Смотрите-ка, это же Миля!

Женщина, узнавшая Милю, бросилась ей на шею.

— Милечка, как ты здесь очутилась?

Лишь теперь и Бенчик узнал Милю.

— И вправду она! — визгливым своим голосом подтвердил он. — Это же из того двора, Гримза!

— Да, это она, — добавил милиционер с улыбкой.

Улица выглядела так же, как и восемь лет назад, но двор, в котором Миля выросла, имел теперь совсем иной вид. Когда она уезжала отсюда, здесь стояли четыре деревянных двухэтажных густозаселенных дома. В од-

ном из них немало лет прожила она с бабушкой Златой. Теперь на том месте, где стоял их дом, стоит пятиэтажное здание, весь его первый этаж занимает гастроном. Из прежних домов остались только два. Миле хотелось навестить кое-кого из соседей, но с кого же начать? День клонился к вечеру, в тени уцелевших тополей мужчины играли в домино; женщины сидели кто на скамейке у подъезда, кто у себя на балконе. Детвора с шумом носилась по двору точно так же, как много лет назад Миля и ее сверстники.

Женщины на скамейке вдруг прекратили судачить и с любопытством уставились на незнакомку в коричневой куртке и голубых брюках, что остановилась с чемоданчиком посреди их двора. Среди сидевших на скамье Миля узнала некоторых, и у нее вдруг появилась озорная мысль — подождать и посмотреть, что будет дальше, кто из них раньше подойдет к ней. Первой устремилась к ней «баргузинка», как всегда, тяжело дыша, — очевидно, нос у нее заложен, и она ловит воздух ртом.

— Миля! Смотрите-ка, это же наша Миля!

Поднялись и остальные женщины. Подошли к Миле. И вот уже поцелуи, смех, приглашения:

— К нам, Миля, к нам!

— Нет, к нам!

Милю очень растрогала встреча. Она — «дома». Во дворе не забыли ее, встретили как родную. Вдруг она почувствовала прикосновение сильных и мягких рук. Запах нежных духов защекотал ей ноздри. Она обернулась — Мара. Но откуда эти светлые локоны — и не узнать! Румяные улыбающиеся губы. О милый, давний друг!

Мара смахнула слезу, но грудной ее голос, как всегда, прозвучал твердо.

— Идем, — сказала она, поднимая Милин чемодан, — идем домой!

Мать привезла сюда Милю, когда ей было лет пять или шесть, откуда — Миля до сих пор не знает. От бабушки, старой Зеличихи, вырастившей ее, она слыхала, что из Николаева. «Баргузинка» говорила, из Колая — поселка в северной части Крыма, под Джанкоем. А в метрике, найденной в сумочке у матери, черным по белому написано, что Миля Лейбовна родилась в местечке Сосницы на Украине.

Мать Мили была миловидная, маленького роста женщина с живыми круглыми глазами. Приехав сюда, она устроилась в детский сад воспитательницей, а через полгода у нее вдруг начали появляться признаки тяжелой болезни. Она часто ездила в краевой центр к докторам, несколько раз ложилась в больницу. И однажды оттуда не вернулась. Миле в детском саду сказали, что мама куда-то надолго уехала. Шестилетнюю Милю чуть было не отдали тогда в детский дом. Как сейчас она помнит: в косички ей вплели новые ленты, дали шоколадку; кто-то принес куклу с закрывающимися глазами; в комнату то и дело заходили соседки и, глядя на нее, качали головой. Гладили ее по голове. Какая-то незнакомая женщина взяла ее за руку, вывела во двор.

А там уже собралась ватага детей, и чей-то звонкий голос сообщил:

— Мильку уводят в детский дом.

Это было летним утром. Миля помнит стук топоров. Чинили дворовые ворота. Дорогу им перебежала кошка, и женщина, которая ее вела, сердито сплюнула. Неожиданно откуда-то прибежала запыхавшаяся бабушка Злата — Зеличиха, жившая с ними через дверь. Платок на голове у нее съехал набок. Не говоря ни слова, вырвала ручонку Мили из руки женщины и заспешила вместе с девочкой к себе в комнату. А та с недоумением на лице кричала ей вслед:

— Бог с вами, Злата! Зачем вы забираете ребенка? Ее ведь нужно отдать в детдом!

Зеличихе было тогда чуть больше пятидесяти, — низенькая, расторопная, она много лет проработала поварихой в том же детсаду, где работала Милина мама. Во дворе знали, что единственный ее сын в сорок втором погиб под Сталинградом. С тех пор дотоле приветливая и разговорчивая Злата угрюмо замкнулась в себе. Все она делала молча, даже услугу кому-то тоже молча.

Миля помнит, что во дворе творилось тогда что-то небывалое. К Зеличихе в комнату то и дело входили какие-то люди, размахивали руками, пытались что-то втолковать бабушке Злате, и все они указывали на нее, Милю. Бабушка в ответ только отрицательно покачивала головой. Кончилось это тем, что Миля осталась с ней.

Миля помнит себя и чуть постарше — в мальчишеской кепке с большим, надвинутым на глаза козырьком, в выцветших, всегда замызганных шароварах. В этом наряде она мало чем отличалась от мальчишек из их двора. Не было такой силы, которая могла бы ее заставить надеть платье. С длинным прутиком в руке раскачивалась она на доске, что торчала в большой луже напротив их дома; весь длинный летний день напролет ее невозможно было заманить домой. В первых классах училась она неохотно, ленилась, зато очень любила рисовать и особенно лепить фигурки. Окна комнаты всегда были уставлены пластилиновыми лошадками и кошками. Едва Миля подросла, стала лепить и человеческие фигурки. Иные из них очень напоминали соседей. Одна фигурка особенно смахивала на старуху Драч — коротконогую и широкоую, с белыми, точно у кошки, усиками. Она ходила всегда в черном суконном платье до пят, жила одиноко, и ее оконце постоянно было закрыто пожелтевшей, засиженной мухами газетой.

Однажды старуха Драч остановила во дворе Милю, мягким, как бы ласкающим, движением поправила на

голове девочки съехавшую назад кепку и проговорила скрипучим своим голосом:

— Знаешь ли, дитя мое, что Зеличиха, старуха Злата, вовсе тебе не бабушка? Она тебе такая же бабушка, как я. Зеличиха тебе совсем чужая...

Миля посмотрела на старухины жилистые руки с черными большими и твердыми когтями, на кадык, ходунном ходивший под темной морщинистой кожей. Насупившись, молчала. Затем повернулась и пошла прочь от нее. Вскоре между сараями она отыскала большой кусок фанеры и углем нарисовала бабу-ягу верхом на метле, очень напоминавшую старуху Драч. Фанеру она поставила у ее двери.

Однажды зимой Миля вылепила снежную бабу. Точь-в-точь их дворник Бенчик! Тот, увидев «себя», пришел в восхищение. Он то и дело звал прохожих посмотреть, как он стоит, «живой», с лопатой в руках.

— Как живой! Как живой! — восторженно повторял он.

В тот же день мимо снежного Бенчика прошел хабаровский скульптор Хлавне Тескер. Он приехал на несколько дней к сестре, жившей здесь же, во дворе. Тескер остановился и с улыбкой принялся разглядывать снежную бабу. Он понял, что это, по всей вероятности, работа той девочки, о которой несколько раз упоминала сестра:

— Маленький чертенок!

Тескер отправился к Зеличихе. Миля, слышавшая во дворе проказницей и непоседой, неожиданно оробела, увидев у них в комнате высокого незнакомого мужчину с черной бородой. Она забилась в угол, за бабушкину кровать, и ее никак нельзя было оттуда выманить. Бабушке самой пришлось показывать ее «работу».

— Лепит день и ночь, — сказала старушка, и не ясно было, сожалеет она или, напротив, радуется, — не напасешься пластилину...

Миля из своего укрытия прислушивалась к каждому слову незнакомца. А тот, казалось, вовсе не интересовался ее кошками и собачками. Его интересовало, как она учится в школе. Миля рассердилась на бабушку, когда та выложила все начистоту: девочка, мол, учится неважно, ленится, случается, приносит двойку.

— О, это никуда не годится! — воскликнул незнакомец, посмотрев в тот угол, где пряталась Миля. — Что же это за скульптор такой — с двойками?

Он ушел, взяв с собой одно из «произведений» девочки — длинноносого, забавного Буратино. С тех пор, приезжая в город, Тескер обязательно навещался к Зеличихе. После его первого посещения Миля стала неузнаваемой. Ее словно подменили. С фанатичным упорством взялась она за учебу, и выяснилось, что у нее вовсе не плохие способности в математике. В классном журнале появились «пятерки».

Из девятого класса Миля ушла и поступила работать в стройтрест: хватит сидеть на шее у бабушки! Старшая ее подруга Мара Каган уже работала там в бригаде отделочников. Она и Милю уговорила.

Работая, Миля училась в вечерней школе и окончила ее с серебряной медалью. Милены одноклассники были удивлены — она же «тянула» на золотую! Лишь некоторое время спустя они узнали истинную причину — для получения золотой медали писали письменную работу — сочинение — нужно было отправить в облоно и еще, возможно, и в краевой отдел народного образования. А этого боялись и учительница литературы, и директор школы, который не особенно надеялся на эту учительницу: а вдруг найдут ошибки... Для того же, чтобы представить к серебряной, сочинение никуда не нужно было посылать.

Три года проработала Миля штукатуром и маляром. Затем, по совету Тескера, уехала в Ленинград и посту-

пила в Институт имени Репина, на отделение скульптуры.

Ей было девятнадцать лет.

6

И вот она снова вместе с Марой. Комната у Мары просторная, обставлена по вкусу хозяйки: широкий диван, покрытый большим красным ковром; на стене над диваном все тот же кусок гобелена, который Миля раскрасила и подарила подруге ко дню рождения, — точная копия красно-синего, с геометрическим орнаментом коврика, что прислала «баргузинке» ее дочь из Ашхабада. На полу, обитом линолеумом, тоже ковер, потемнее. Телевизор «Электрон». По обеим сторонам журнального столика массивные кресла той же расцветки, что и диван. Сама Мара в красном в золотистую полоску халате. Обе сидят в креслах. Мара курит и рассказывает, как жила эти восемь лет. О комбинате бытового обслуживания, где сейчас работает, она не слишком лестного мнения.

— Подножки и еще раз подножки. Каверзы. Зависть. Интриги!

— У парикмахеров тоже интриги? — смеялась Миля.

— А ты что думала? Только у вас, у художников? Еще какие интриги! Но мне тоже пальца в рот не клади. Кто едет у нас на краевые и зональные выставки? Кто привозит дипломы первой степени? Кто у нас имеет звание мастер экстракласса?

Оказывается, Мара за это время стала фельдшером-косметологом и теперь заведует косметическим кабинетом, который, по ее словам, буквально ломится от посетителей.

— Собственно говоря, — произносит с улыбкой Мара, — настоящие художники — это мы! Мы имеем дело не с камнем, не с глиной, а с живыми людьми. И в нас

нуждаются пока что гораздо больше, чем в вас. У нас контингент куда шире.

Затем разговор перешел на другое. Мара спросила, есть ли кто-нибудь у Миля, не собирается ли замуж.

— Есть один... — ответила Миля.

И рассказала о Казике.

— Это серьезно или просто так? — полюбопытствовала Мара.

— Думаю, серьезно. Ты же знаешь — у меня «просто так» не бывает.

— Смотри, Милька, в оба! Знаю я их, этих дирижеров!

У Мары личная жизнь не клеилась. Она уже несколько раз выходила замуж, а сейчас опять была одна.

— Хотя бы что-нибудь путное было, а так все какие-то нестоящие... или сватаются знаешь кто — женатики... Представь себе, из-за одного такого женатого военврача меня прорабатывали на профсоюзном собрании. Представь себе, как негодовали святоши наши, эти лицемерные парикмахерши и особенно портнихи... Хотели приписать мне бытовое разложение.

Миля расспросила Мару про бабушку — как старушка жила после того, как она уехала из дома. Миля помнила, как при расставании на вокзале бабушка, уже тогда сильно постаревшая, плакала и повторяла, что уже больше никогда не увидит Милю. И Миля тоже плакала; утешая ее, она обещала приехать через год, но не сдержала слово — у нее не хватило денег на дорогу. Она отложила поездку домой на следующий год и уехала со студенческим стройотрядом в Карелию. Зимой Миля получила от Мары письмо, что бабушка уже обрела вечный покой.

— Перед смертью она только и говорила о тебе, все звала тебя: «Где ты, Милечка?»

Миля вынула из чемодана небольшой мраморный ба-

рельеф. Мара увидела лицо старой Златы — доброе и милое, полное внутреннего благородства.

Мара долго смотрела на барельеф.

— Да, — задумчиво сказала она, — такой она и была. Сколько же нужно заплатить за такую работу?

— Много. Всей жизнью.

Мара повела глазами с длинными, наклеенными ресницами.

— Ты, Милька, только и знаешь одну цену — жизнь!

7

Бабушка лежит на новом кладбище. В каком именно месте? Соседи помнят смутно. Лишь «баргузинка» смогла сообщить одну примету: могила Златы находится рядом с могилой жены Дубровского...

Дубровский, директор ресторана, поставил на могиле жены дорогой памятник, и будто бы по этому памятнику можно найти могилу бабушки. Другая соседка дала еще более верную примету: по ее словам, от ворот нужно отсчитать двадцать три или двадцать четыре ряда вправо...

На новом кладбище, которое уже порядком разрослось, в прозрачной синеве воздуха мерцают серебристые надгробья, яркими красками пылают бумажные цветы. По ту сторону решеток черные ленты. Милю охватила тоска. За всю жизнь ей пришлось лишь раз бывать на Волковом кладбище в Ленинграде и в крематории, когда хоронили студентку, сокурсницу. Но тогда кроме нее было еще много народу, а здесь она одна-одинешенька.

Спустя немного времени она заметила, что даже здесь, на кладбище, жизнь идет своим ходом. На крыльце сторожки буднично, не спеша, возится с кастрюлями и ведрами светловолосая женщина. То и дело покрикивает на белоголовых ребятишек, а те вольготно носятся, точно это не кладбище, а обычный двор. За могильными

оградами люди с лопатами, подравнивают, убирают. Где-то рядом плачет женщина.

Миля отсчитала вправо двадцать три ряда от дороги, затем двадцать четыре слева. Попадались богатые мраморные надгробия, но того, которое искала, не было. Она остановилась в растерянности. Должно быть, соседка перепутала. Что же делать? Решила терпеливо идти от ряда к ряду, пока не найдет. Лишь в тридцать девятом ряду она между декоративными елочками увидела надгробие жены Дубровского и рядом — бабушкину могилу, заросшую бурьяном и пыреем. Краска с железной ограды давно уже слезла, деревянные шары, скромно венчающие острые углы ограды, стерлись, и зияющие отверстия выглядели словно разинутые в крике рты. С поникшей головой Миля долго стояла возле ограды. Глотая слезы, она силилась восстановить в памяти лицо бабушки до мельчайших морщинок. Ей вспомнилось, какие замедленные движения были у старушки, когда она узнала, что Миля уезжает, вспомнилось и черное, ставшее вдруг просторным платье бабушки, ее тайные слезы, вызванные предстоящей разлукой с Милей...

Очистив холмик от сорной травы, Миля решила насыпать свежего сухого песку из той груды, что лежит у дороги, но тут же передумала: все равно ведь его придется ссыпать, чтобы установить надгробие.

Напротив, во втором ряду, Миля заметила высокого пожилого мужчину. С седой обнаженной головой он неподвижно стоял у ограды. Миля оперлась рукой о лопату и не отрывала от старика глаз: вот потрясающая тема — отец, потерявший единственное дитя...

Она долго провожала его взглядом, пока он шел по узким проходам между могилами. Оказавшись на том участке кладбища, где были выкопаны свежие могилы, он остановился. О чем он думал? Наверно, этот старик думал о том клочке земли, который его ждет здесь. Ему, наверно, сейчас так горько, так тоскливо.

Она вспомнила, что где-то на кладбище в Хабаровске лежит ее мама, которую она едва помнила. Могилу матери вряд ли теперь отыщешь. Затем ее мысли вновь вернулись к той, что лежала здесь, за оградой. Неожиданно для себя вслух Миля проговорила:

— Ну вот, милая бабушка, единственная моя, приехала я!

В бухгалтерии комбината бытового обслуживания Миля заплатила определенную сумму, чтобы установили надгробие и покрасили решетку. Сутулый, приземистый мастер с бритой шишковатой головой узнал Милю. Он вместе с ней работал когда-то в стройтресте.

— Ну, как дела, маляр? — спросил он.

Миля сказала, что работу выполнит сама, пусть он ей только немного поможет.

— Охотно помогу, — обнажив большие желтые зубы, согласился мастер, — не забудь только захватить поллитровку, полагается потом обмыть — сама ведь знаешь.

В субботу Ямчик, Мара, «баргузинка» и еще несколько человек — прежние соседи — поехали вместе с Милей на кладбище. Могила, уже одетая в бетон, напоминала собой домик со стенками, украшенными лепестками цветов. Высокий четырехугольный обелиск с мраморным барельефом и решетка отсвечивали серебром. Ямчик положил к обелиску венок с надписью: «От соседей».

— Ну вот, — сказал он Миле, — ты уже попробовала свои силы и в этом скорбном жанре.

Женщины смотрели на запущенную, заросшую сорняком могилу Дубровской. Видимо, давно уже никого здесь не было.

— Он женился, — покачала головой «баргузинка», — незачем ему сюда уже ходить.

Лето уже было на исходе, но день стоял ясный, теплый. От легкого ветерка тихо и печально шелестели

листья бархатных деревьев и густая, высокая трава между оградами. Пахло увядающей полыню.

На почте Милю ждала телеграмма:

«Я люблю тебя. К.»

8

Миля бродит по городу.

Восемь лет она не была здесь. Но о городе своего детства она всегда вспоминала с особенной нежностью. Она любила уютные улочки городской окраины с их палисадниками и огородами. Вид новых улиц наполняет сердце Мили гордостью: многие из пятиэтажных домов — это «ее» дома. Ее бригада их строила. Вот, например, этот дом — напротив сквера на Советской площади. О, именно с этим домом связана одна интересная история!

...На строительстве дома работала молодежная бригада — отделочники, штукатуры и маляры. Она, Миля, тогда временно замещала заболевшего бригадира. Прораб, молодой, рыжеволосый парень, стал частенько навещать в те секции, где работали девчата. Увидел как-то на высоких козлах Милю в выцветшем комбинезоне и красной косынке, подошел к ней.

— Ну, зам, как дела?

— Как видите.

— Копишь стаж для института?

— Это не исключено.

— Ну, а работенка-то пыльная ведь, грязная?

Миля насмешливо на него посмотрела.

— Как для кого. Для меня работать здесь удовольствие.

И как бы доказывая, что работа действительно доставляет ей одно удовольствие, она легко, словно играючи, зачерпнула полный черпак жидкого раствора и молниеносным движением расплескала его по потолку; еще несколько ловких движений — и уже весь угол отделан.

Прораб восхищенно заметил:

— Ну, артист!

Миля расхохоталась: лишь несколько минут назад она слыхала, как прораб ругал шофера, — тот, разгрузив самосвал, оставил на земле груды битого кирпича: «Эх, ты, артист!»

— Это и я говорю, — весело прокричала она ему с козел, — наш брат отделочник должен быть артистом, виртуозом!

Миля вспомнила, как однажды, направляясь к кладовщику, чтобы выписать алебастр, заглянула в секцию, где должны были уже начать красить. Мара шпаклевала дверцу стенного шкафа. На поверхности дверцы Миля заметила несколько пятен величиной с серебряную монету.

— Мара, — с упреком сказала она, — а пятна?

— Ничего. Под краской не будет заметно.

— Сейчас нет, а через месяц-полтора?

Мара поморщилась:

— Что пристала? В наряд разве входит соскребать? Не я же их сделала.

— Эти пятна останутся на нашей совести, Мара!

— Ох, уж эти твои громкие слова, Милька...

И все же Мара взяла кусочек стекла и принялась неохотно соскребать пятна. Миля еще немного молча стояла возле нее, думая, очевидно, о чем-то своем. Мара пришла на стройку на два года раньше ее. В ее ловких руках все так и спорилось. Вскоре она стала одной из лучших отделочниц стройтреста. Но уже с первых дней Мара твердо решила: маляром она не будет. Как только наберет два года трудового стажа, уедет в Хабаровск, поступит в Политехнический институт. И поминай как звали!

Отработала Мара два года. Поехала сдавать вступительные экзамены, не прошла по конкурсу. Безусловно, она, Миля, на ее месте тоже бы сильно переживала,

но Мара совсем упала духом, смотрела на себя как на полное ничтожество — и все только потому, что ей пришлось снова взяться за малярную кисть... Нередко обе девушки спорили между собой, и все же они продолжали дружить. Миля была моложе подруги на несколько лет и, несмотря на это, часто подбадривала Мару, когда та впадала в уныние. Как-то раз она спросила у Мары, не хочется ли ей пойти на концерт.

— Что за концерт? — спросила Мара.

— Московская пианистка. Лауреат.

Мара со скучающим видом пожала плечами:

— Что ж... пошли.

Пианистка, молоденькая невысокая девушка, чернявая, худенькая, с милой, застенчивой улыбкой, вызвала у Мары недовольное замечание:

— Могла быть и чуточку красивее. А платье-то, а прическа — все это идет ей, как... На сцене, по-моему, должны выступать только красивые, тогда глазам есть на что смотреть, талант и красота — это ведь одно и то же.

— Если так, — улыбнулась Миля, — тогда ты очень талантлива.

В антракте девушки вышли в фойе и встали возле небольшого зеркала, висевшего на стене. В светло-зеленом, сшитом в ателье костюме Миля самой себе показалась выше, солиднее, и это доставило ей удовольствие. Она украдкой взглянула на синее платье Мары. Маре все к лицу! Мара — красавица. Мара просто великолепна. В фойе то и дело на нее оглядываются. У нее много знакомых. Знакомясь, она представляется так: «Техник-лаборант», — утаивает свою настоящую профессию. Миля называет ее в шутку «техник-лаборант с кистью маляра».

— Ну, какое впечатление? — Миля сбоку заглянула в лицо подруги.

Мара вздохнула:

— Ты говоришь — талант... Есть же счастливые люди, у которых вся жизнь сплошной праздник. Мы с тобой, к сожалению, не принадлежим к ним.

Она нарочно сказала «мы». Мара знала, что Миля хочет стать скульптором, но разве это не пустая и наивная затея?

— А в нашей работе, ты думаешь, не требуется таланта? — спросила Миля.

Мара горько усмехнулась.

— Та-ла-ант! Послушай только, как нелепо это звучит: какие-то захудалые штукатуры, маляры — и тоже мне, талант! Такие, как мы с тобой, должны только выполнять, что велено, — и точка.

Возвращаясь с концерта домой, девушки возобновили разговор.

— Я вовсе не чувствую себя захудалым штукатуром, — заметила Миля. — И, надеюсь, никогда не буду им. Я живу мыслями о работе, все время думаю, как бы сделать лучше, красивее, — так, чтобы работа моя доставляла людям радость, такую, какую, например, доставляет произведение искусства или игра вот этой пианистки. Да, да! Вот послушай: как-то раз прораб Зеленцов встал возле меня, смотрит, как я работаю. И говорит: «Артист». Возможно, он попросту посмеялся надо мной, но все равно слово «артист» оказалось как раз к месту. Мне кажется, это слово самое подходящее для оценки нашей работы.

«Что и говорить, работник ты, каких поискать, — соглашаясь мысленно с прорабом, вздохнула Мара. — Но к чему такие громкие слова — «талант»? Таланты занимаются чем-то иным, у них работа посolidнее, получше».

Маре, очевидно, доставляло болезненное удовольствие растравлять себе раны, говорить о своей якобы полной никчемности. Миля в ответ отрицательно качала головой:

— Нет! Не согласна!

Она с фанатическим упорством верила в то, что отделка жилищ для людей тоже искусство. Оно требует и хорошего вкуса, и чувства меры, и тяготения к прекрасному, уж не говоря о мастерстве. Странно, что Мара никак не могла этого понять!

Бригадир все еще был болен, и так как Миля замечала его, весь ее рабочий день проходил в непрерывных хлопотах. Однако, как только у нее выдавалась свободная минутка, она забегала в небольшую секцию, выходящую окнами во двор и отделенную от остальных секций узким коридорчиком. Милей овладела идея — вот эту ничем не примечательную квартиру, где, вероятно, поселится обычная, рядовая семья, отделать так, чтобы сразу стала видна разница между тем, что делается с любовью и подлинным мастерством, и тем, что делается лишь ради нормы. Она дотошно, кропотливо искала у себя в работе малейшие дефекты и нередко, когда все уже уходило домой, оставалась что-то доделать, исправить.

Случалось, исправляла и переделывала по несколько раз.

В один из дней, едва закончилась смена, она пригласила зайти к ней отделочниц из соседних секций.

Кто-то недовольно проворчал:

— В новинку ли — еще одно производственное собрание...

— Нет, — смущенно улыбнулась Миля, — не собрание, а экзамен.

— Что? Какой еще экзамен?

— Я хочу держать перед вами экзамен.

Миля с такой серьезностью произнесла слово «экзамен», что девушки поначалу растерялись: им никогда еще не приходилось слышать ничего подобного. Но любопытство было все-таки велико, и они одна за другой проследовали в Милину секцию.

Сразу же им бросился в глаза ослепительный блеск стен и потолка и сияющего, словно зеркало, пола.

— Девушки, — сказала Миля подругам, — вы все тут специалисты. Взгляните на мою работу и скажите прямо: чего здесь не хватает? Я сделала все, что было в моих силах.

— И впрямь артистка! — скривила в саркастической усмешке красивые губы Мара. — Стоит на козлах и мечтает о славе, об аплодисментах. Не хочет понять, что козлы штукатура — это всего-навсего козлы, а не эстрада!

В глазах у Миля зажёгся сердитый огонек.

— Для тебя, Мара, козлы не эстрада, а для меня эстрада. Можешь смеяться надо мной сколько угодно...

Они вдруг обе расхохотались, но тут же, приглушив смех и сделав серьезные лица, продолжали с остальными девушками осматривать комнаты. Тщательно отыскивала «комиссия» малейший дефект, недоделку и в конце концов вынуждена была признать, что все отлично.

Девушки прошли по всем секциям, и каждая смотрела на свою работу как бы со стороны. Волнуясь, они прислушивались к замечаниям и бурно реагировали на каждый упрек.

— Вот этот угол, Зоя...

— Что «этот угол»? Что?

— А здесь посмотри, как покрашено...

— Если на это обращать внимание, норму не выполнишь и заработаешь шиш!

— Ну, а у Гулько? Взгляни на ее работу!

Осмотрев все секции, уселись на ступеньках у входа. Как-то само собой разговор зашел о второй молодежной бригаде, с которой они соревновались. Той бригаде совсем недавно присвоили звание бригады коммунистического труда и вручили переходящее красное знамя. Миля сидела чуть поодаль, на нижней ступеньке, и, при-

слонив голову к перилам, с интересом прислушивалась к беседе. Именно сейчас, решила она, самое подходящее время поговорить о том, что давно уже занимало ее мысли.

— Мы, девушки, — начала она, — знаем, что такое красота, и мы можем ее создавать. Наши руки способны самый прекрасный дворец сделать еще прекраснее. Так почему же мы работаем так... я не хочу сказать — плохо, но все же, согласитесь, буднично, без живого огонька... Почему бы нам, к примеру, не отделать вот этот дом со вкусом? Почему бы нам не сдать экзамен на мастерство? Почему бы нам и впредь так не работать?

— Всюду экзамен, — рассмеявшись, развела руками Мара. — В институте — экзамен, в техникуме — экзамен. Здесь, в бригаде штукатуров, тоже экзамен.

Долго они тогда говорили, откровенно, горячо. Тот день стал в жизни всей бригады историческим. Ох, как на следующий день закипела работа! Друг другу никаких скидок не давали, малейший дефект рассматривался как халтура. Вскоре бригада Гулько — так ее называли, хотя Миля и не была бригадиром, — прослыла в строительстве лучшей бригадой отделочников.

Мара вскоре со стройки ушла, она хотела стать дамским парикмахером и заодно маникюршей. Миля сказала тогда, что она, Мара, по существу, осталась той же отделочницей, но вместо того, чтобы красить жилища, она будет теперь красить дамские ноготочки. И это, считала Миля, гораздо менее почетный удел!

Несколько раз Миля щелкает фотоаппаратом. Ей хочется снять на память «исторический» дом, возле которого она теперь стоит. Этот дом, несомненно, тоже ее произведение! Ее так и тянет зайти в одну из тех квартир, которые она некогда отделявала своими руками, и посмотреть на стены и потолок, на двери, окна.

Здесь она когда-то сдавала экзамен на мастерство!

Миля бродит по городу.

Перед ней широкая улица, теряющаяся где-то в голубоватой дали. Много людей — спешат навстречу или обгоняют ее. Город растет — новые скверы, новые площади. Однако на площадях и в скверах не видит она памятников, скульптур. Ей досадно. Она уже говорила об этом с Ямчиком, зашедшим накануне к Маре, чтобы повидаться с Милей.

— Характер и облик города, разумеется, теряет что-то, если в нем нет хотя бы одного крупного монумента! — сказала она ему.

— Это еще молодой город, — ответил Ямчик.

— Не такой уж он молодой. Ты и Мара выросли здесь.

Мара в эту минуту стояла перед зеркалом, расчесывая длинные свои волосы. Через плечо бросив взгляд на Милоу, заметила:

— Видно, скульптуры пока что не такая уж необходимая вещь. Во-первых, все это стоит приличных денег. Бесплатно никто тебе работать не будет, во-вторых, здесь нет скульпторов. Ты-то сама, к примеру, живешь в Приморске...

— Да, конечно, — согласилась Миля, — профессиональных скульпторов здесь пока нет. Хотя что значит нет собственных скульпторов? — Она круто повернулась к Маре и Ямчику. — А я что? Разве чужая? Здесь меня, круглую сироту, вырастили — бабушка Злата и, можно сказать, весь двор. Всю жизнь я буду считать себя обязанной этому городу. Прежде строила дома, теперь я скульптор и своими руками украшу город.

Мара снисходительно улыбнулась.

— Милька все та же, не меняется... Всегда эти громкие слова!

Миля миновала Дворец культуры с его массивными колоннами у широкого входа. Ей пришло в голову, что фасад можно было бы украсить интересной фреской, отражающей какой-нибудь эпизод из времен гражданской войны на Дальнем Востоке, или можно взять другую тематику — из истории области, из летописи свершений ее первых строителей.

Она свернула к огибающей Биру дамбе, поросшей на склонах молодой вербой. Остановилась, чтобы посмотреть на темнеющую реку и на дальние хребты голубовато-лиловых гор на горизонте. Рядом парк. Воздух насыщен терпким ароматом увядающих листьев. Миля приходила сюда когда-то с подругами из ее бригады, иногда одна — писать этюды, она тогда увлекалась живописью. Она бывала здесь и с Ямчиком. Тогда это был долговязый паренек, писавший белые стихи. Он был влюблен в нее, в Милю. Она знала это и притворно ласково говорила ему: «Ямчик, говорят, будто ты в меня влюблен?» Вспомнила сейчас, что в парке когда-то стояла гипсовая скульптура, изображающая дискболку. То была довольно заурадная скульптура, но все же скульптура. Теперь ее нет. Миля шла по аллее дальше, мимо портретов героев гражданской и Отечественной войн, Героев Социалистического Труда. Сколько прекрасных, мужественных лиц, все они достойны, чтобы их запечатлели в мраморе, бронзе, граните!

Она увидела портрет Бумагина, выполненный цветным углем. Уже давно Миля мечтала изобразить Бумагина во весь рост и использовать для скульптуры именно бироканский мрамор. Не один десяток эскизов и набросков сделала она для будущего памятника. Есть у нее даже макет: Бумагин в каске, с автоматом на груди и со связкой гранат в руке... Мужественное лицо и сильная, волевая фигура хорошо передают негибаемый дух советского солдата.

Каждый день Милю на почте ждала телеграмма: «Я люблю тебя. К.».

Одну из таких телеграмм прочитала Мара. «Возможно, — подумала она, — у Мили действительно все иначе. По-настоящему. Серьезно. Миля не из тех, кто даст себя дурачить».

— У твоего Казика, — заметила она однажды, — не хватает фантазии — все одно и то же. Но, может, это-то как раз и хорошо?

Миля идет по длинной улице Шолом-Алейхема к заводу Дальсельмаш, где, по ее мнению, нужно поставить памятник Бумагину. Думает о Казике, и такое счастливое чувство наполняет душу, что, пожалуй, по плечу ей сейчас любое дело.

А Мару жалко. Красива, молода, далеко не глупа и все никак не может устроить личную жизнь! Она подумала о себе: возможно, скоро в ее жизни все переменится. В воскресенье у Казика закончится семинар, тогда они вместе поедут домой. Там, в Хабаровске, Казик ясно сказал ей «домой», — значит, к нему. В ее комнатку они зайдут лишь затем, чтобы забрать вещи.

— И глину тоже? — смеясь, спросила его Миля.

Глина... Она вдруг представила себе мать Казика, ее импозантную фигуру, тяжелую поступь.

Миля знала, что Казик преданный сын. Он не собирался уходить от матери, да в этом и не было необходимости: квартира у них просторная, четырехкомнатная, они получили ее еще тогда, когда с ними жил старший брат Казика. Да, но сможет ли она ужиться с пани Зосей, у которой гипертрофированная, болезненная щепетильность к чистоте, панический страх перед пылинкой на крышке пианино?.. Миля представила себе начищенные до блеска полы, покрытые коврами, по которым

грешно даже сделать лишний шаг, вся мебель в чехлах. И вдруг она, Миля, в этот храм блеска и чистоты заявится с коробками пластилина! Легко представить себе, как «пани Зося», поморщившись, скажет: «Милечка, в квартиру...»

Мысленно Миля опять перенеслась в то время, когда работала отделочницей.

«Я могу вам показать, пани Зося, что такое красота! Что значит красивый интерьер, даже в соответствии с вашими варшавскими понятиями!»

11

Три дня пролетели быстро, пора собираться в дорогу. Скоро новый учебный год. Миля накануне позвонила в Приморск и связалась с художественно-графическим училищем. Поинтересовалась, как идет прием, есть ли среди абитуриентов перспективные. К телефону подошел заведующий учебной частью Хрусталь. Он очень обрадовался, услышав голос Мили.

— Откуда вы звоните, Миля? С Крайнего Севера?

— Нет, из Биробиджана.

В трубке послышался басовитый смешок:

— Из Сахалина в Приморск разве едут уже через Биробиджан?

Он поблагодарил ее за икру. Она послала ее с путины ему и еще несколькими своим знакомым.

— Миля, — прокричал он в трубку, — приезжайте скорей! Вы нам очень нужны!

— Кому? Вам?

Когда Миля поступила работать в училище, этот Хрусталь, старый холостяк с замашками донжуана, попробовал предпринять по отношению к ней серию атак, но получил резкий отпор. Это не помешало им впоследствии стать друзьями. Перед ее отъездом на путину он зашел к ней попрощаться. Он, как обычно, принялся листать папки с эскизами, и Миля не могла не почув-

ствовать, что у него унылое настроение, в его обычно веселых глазах сквозило тоскливое выражение. Хрусталь, как всегда, стал жаловаться на занятость, на то, что педагогическая работа забирает всю энергию и уйму времени, не оставляя ничего для самостоятельной творческой работы.

— Вот у вас, Миля, на все хватает времени, даже на вашего капитана.

Он сказал это улыбаясь, но его красивое лицо было грустным. Ей хотелось немного подбодрить его, но что она могла сказать ему? Как заведующий учебной частью, он, безусловно, был на своем месте, но как художник... Она знала его работы: посредственные картины, написанные маслом, несколько недурных акварелей, которые все же не шли дальше школьной выставки.

Он был уверен, что все дело в интригах. У него ничего не взяли для зональной выставки. И все потому, что однажды он как будто имел неосторожность плохо отозваться о бездарной картине самого председателя Приморского союза художников, и вот...

«У вас на все хватает времени». Миля покачала головой. Время! Время! Где его взять?

Она подумала о том, что как только приедет в Приморск, на нее свалится прорва работы: уроки в двух группах, конкурс на памятник Лазо для Охотска, оформление спектакля «Человек со стороны», который ставит драмколлектив местного фарфорового завода; к тому еще она куратор второго курса, помощник руководителя теоретического семинара для учителей-художников, кроме того, руководит скульптурным кружком в городском Дворце пионеров...

Но, может быть, именно потому, что ее ждет так много дел, она ощущает в себе прилив новых сил. Ей хочется скорее окунуться с головой в эту бурлящую будничную жизнь, по которой она, по правде говоря, уже порядком соскучилась.

Дни все еще стоят погожие, теплые. Завтра Миля уезжает в Приморск. Надев старенький фартук Мары, она лепит из глины бюст пионерки — это будет ее подарок пионерскому форпосту двора. И хотя теннисный стол, за которым она работает, стоит от форпостовской палатки вовсе в стороне, где-то в глубине двора, возле нее не переводятся любопытные зрители, впервые, очевидно, наблюдающие за работой скульптора. Здесь же и Бенчик в своей мешковатой зеленой кацавейке и мышиных штанах. Он по-хозяйски покрикивает:

— Ну, чего столпились здесь, чего не видали? Дайте же человеку работать!

Миля спокойно заметила:

— Ничего, Бенчик.

«Баргузинка» добросовестно высидела все сеансы у теннисного стола вместе с девочкой, которая позировала. Она не отрывала глаз от Милиных рук, мнявших сырую глину. Ее краснощекое лицо сияло от восхищения.

— Удивительно — простой кусок глины превращается в лицо!

Девочка, что позировала Миле, длинноногая, очень живая, с длинными черными косами и блестящими черными глазками на круглом загорелом лице, сидела на табурете с серьезным и даже важным выражением. Еще бы! Из всех детей их двора выбрали именно ее, с нее лепят скульптуру пионерки! Эта мысль придавала ей сил высидеть несколько часов подряд в одной и той же позе. Поначалу ей было довольно интересно смотреть, как Миля колдует над серо-зеленой глиной, но потом понемногу надоело, и все же она ни за что на свете не уступила бы своего места кому-то другому.

Среди тех, кто толпился вокруг стола, был мальчуган лет тринадцати-четырнадцати. Чем-то он невольно обратил на себя внимание Мили. Невысокий, с забавной ямоч-

кой на одной из круглых щёчек, он буквально пожирал глазами каждое движение скульптора. В руке он держал сумку, из которой торчал сверток. Улучив минуту, мальчуган подошел к «баргузинке» и, смущаясь, что-то зашептал ей на ухо. Та, выслушав, кивнула головой.

— Это к тебе, — обратилась она к Миля, указывая на мальчика, — он хочет тебе что-то показать.

Скульптура пионерки была готова, и Миля собиралась идти в дом, чтобы помыть руки и переодеться. Она подошла к мальчику и внимательно посмотрела на него.

— Что ты хочешь мне показать?

— Так... кое-что.

— Знаешь что, — сказала Миля, окинув глазами стайку ребят, с любопытством наостривших ушки, — давай зайдем в дом.

Мара говорила с кем-то по телефону, она громко смеялась, и сквозь ее смех доносился из трубки мужской голос. Не желая мешать Маре, Миля с мальчиком прошли через коридор в боковую каморку.

— Как тебя зовут?

— Изя.

— Что же ты хочешь мне показать?

Изя вытащил из сумки две небольшие фигурки. Одна из них — солдат в каске и плащ-накидке — была вылеплена из пластилина, другая фигурка была из дерева и называлась «Мой друг Пиця».

Изя хорошо потрудился, — как интересна эта взлохмаченная головка мальчика Пици, лукавые глазки, озорно вздернутый носик и агрессивно выставленное вперед плечо, как будто Пиця собирается выкинуть или уже выкинул какой-нибудь финт!

Миля со всех сторон рассмотрела фигурку: детская поделка, не больше, но в этой работе чувствовался талант, вложенный природой в детские руки. Им, рукам этим, словно само собой удалось достичь того, чего другим достичь не удастся, сколько бы они ни трудились.

Миля узнала от мальчика, что его мама работает на трикотажной фабрике. Она хочет, чтобы Изя после окончания школы поступил в местный механический техникум. Лепка каких-то фигурок, считает она, не профессия. Но он твердо решил — идти только в школу живописи!

— А как ты учишься? — спросила Миля.

— Нормально.

— Что значит нормально? Двоек нет?

— Ну вот еще, двоек...

— Троек много?

— Одна тройка — по пению.

Миля с улыбкой мягко ткнула пальцем в ямочку на его щеке.

— Что же это за скульптор, раз у него тройка по пению? Ой, Изя, нужно учиться хорошо!

Изя поднял на Милю полные решимости глаза.

— Вырезать и лепить я все равно буду всегда. Всю жизнь.

Миля посмотрела на Пицю в профиль, потом опять повернула лицом к себе.

— Ну, если ты не передумаешь, я помогу тебе поступить в наше училище. Постарайся только хорошо закончить восьмой класс.

От этих слов будто теплая волна прошла по сердцу Изя. Какое счастье! Настоящий скульптор посмотрел его фигурки, более того — предлагает поступить в художественное училище, о котором он столько мечтал! Он с восхищением смотрел на Милю. Ему не верилось, что она когда-то так же, как и он теперь, жила на этой улице, в этом же самом дворе. Ему захотелось как-то выразить свое восхищение перед нею.

— Мне хочется подарить вам вот это, — нерешительно обратился он к Миле, указывая на Пицю.

— О, прекрасный подарок! Спасибо, Изя. Когда ты приедешь к нам в Приморск, я тебе тоже кое-что подарю.

Он ушел. Миля пошла к Маре. Та сидела на диване

с поджатыми ногами и маленькой пилочкой поправляла крашенные длинные ногти.

— Ты, однако, находишь клиентов, — заеменялась она.

Миля взглянула в окно. Она видела, как Изя пересек двор и, размахивая кошелкой и пританцовывая на ходу, вышел из ворот и исчез за углом кирпичного дома.

— Еще трудно сказать, — задумчиво сказала Миля, — но, кажется, нашла. . .

Пиця плутовато смотрел на нее со стола.

— Кто знает, — сказала Мара, — может быть, он и в самом деле станет скульптором.

— У нас в области, — улыбнулась Миля, — пока есть бироканский мрамор, появится еще не один скульптор. Девушки помолчали немного.

— Теперь, Миля, — сказала, прервав молчание, Мара, — ты уже не скоро сюда выберешься!

— Почему же? Приеду на следующий год — и на все лето. Здесь хватит работы!

«Если не помешает что-нибудь поважнее! . . .» — хотела сказать Мара, но промолчала.

Она засмотрелась на Милины пальцы. «Удивительно чуткие и умные пальцы, — подумала она. — Этим широким, плотным ногтям вовсе не требуется маникюр».

Ею вдруг овладела тоска. Миля, побыв с ней несколько дней, словно вселила в ее душу какое-то беспокойство, сомнение. Вот Миля уезжает. . . Мара вдруг на мгновение представила себе ее жизнь там, в крупном приморском городе, в каком-то фантастическом ярком свете, и эта жизнь так не была похожа на ее собственную. Она вдруг вспомнила, как когда-то они, две молодые работницы, шли с концерта московской пианистки и она, Мара, сказала Миле: «Талант. . . Есть такие счастливики, для которых вся жизнь праздник. Мы с тобой, к сожалению, не принадлежим к ним. . .»

А что оказалось на деле?

Миля как раз и принадлежит к ним!



а исходе ночи в доме реб Тевеле Раппопорта зажглось множество сальных свечей. Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, богач и глава кагала¹ был еще весьма подвижен и бодр. Он проснулся первым, и, как всегда, по всему дому разнесся его звонкий, властный голос:

— Вставайте, добры молодцы! Петух пропел!

Так будил он обычно домочадцев мужского пола к утренней молитве. Натягивая начищенный яловый сапог, он вдруг слышал за окном суматошливый топот и выкрики. На миг так и замер с приподнятой кверху ногой.

— Ноех-Цале! — То ли по рассеянности, то ли из-за пренебрежительного отношения Тевеле часто путал порядок имен своего эконома Цале-Ноеха. — Что за переполох на улице?

Дожидавшийся в передней высокий поджарый эком просунул в дверь суровое лицо, обросшее густой черной щетиной, чем-то напоминавшее лицо монаха-отшельника.

— Это, реб Тевеле, стражники погнали ристанскую роту к реке — мост чинить.

Тевеле торопливо натянул второй сапог.

— Мост, говоришь? Чего это вдруг?

Небольшой деревянный мост через узкую речушку

¹ Кагал — еврейская религиозная община.

Гребейку снесло весенним паводком, а городничий не спешил его восстанавливать. Цале-Ноех в смиренном почтении стоял перед Тевеле и, преданно заглядывая ему в глаза, докладывал:

— За ристантами ездил сам господин городничий. Страшно ругался, тряс кулаками. Кричал: «Шкуру со всех спущу!..»

Тевеле озадаченно повел холодными изжелта-серыми глазами. Наскоро совершив утреннее омовение рук и взяв изрядно потертый бархатный мешочек с талесом, отправился в старую синагогу, куда обычно ходил пешком.

Стояла уже поздняя осень. Кривые улочки были окутаны сырým туманом. Тевеле приложил два пальца к ноздрям. Когда-то в молодости он страдал кашлем и потому все годы пил козье молоко с медом. Проходя сейчас мимо дубилен, старался поменьше вдыхать сырой, едкий воздух. В предутренней мгле неясно проступали низкие крыши кирпичных корпусов винокурни. За нею тянулись длинные ряды стойл, где откармливали скот брагой. Все это Тевеле арендовал у местного помещика Суздиловского. Мысли его сосредоточились на винокуренном заводе, который вот-вот должен быть пущен после летнего перерыва. Вчера он видел там новую партию мужиков и баб, которых немец, управляющий пана Суздиловского, прислал на завод и вслед за ними воз со свежими розгами. Тевеле чуть заметно ухмыльнулся:

«Эти будут работать... Горы своротят».

Дорогу преградила огромная лужа, занимавшая большую часть улицы. Тевеле, недовольный, стал пробираться по узеньким кладкам через разгороженный двор, мимо вросшей в землю хибарки, откуда доносились звуки скрипки. В слабо освещенном окошке мелькнула высокая фигура скрипача Рувна Бурлеса. Тевеле зло сплюнул: «Подонки этакий! Ни свет ни заря уже пиликает на своей бандуре! А молился ли? Черта с два! А вид! — Он еще раз сплюнул. — Вместо пейсов, на панский манер, бакенбар-

ды. Патлы, как у попа... И в таком возрасте еще вольная пташка — не женат... А будь он обременен детьми, как все евреи, не совал бы поганый нос в кагальные¹ дела!»

Тевеле вспомнил про жалобу на себя и других старост общины в губернское управление. Как ему стало известно, это было делом рук Бурлеса. «Не хватает других напастей, так на тебе, донос! Ябеда!»

В синагоге уже собрался первый миньен в полном его составе, с которым Тевеле совершал утреннюю молитву. Одноглазый низенький служка пнул ногой ешиботника², крепко спавшего под кучей тряпья между печкой и книжным шкафом.

— Разлегся, как у батьки в корчме! — ворчал он. — Вставай, дурыла. Люди пришли молиться, а он воздух портит в божьем доме!

При появлении Тевеле воцарилась почтительная тишина. Служка кинулся к нему снимать длинное, до пят, пальто. Пожилой батлен³, который, шепча молитву, вытирал грязным посконным полотенцем руки, хотел было ему помочь, но служка ревниво его оттолкнул. Тевеле, не глядя ни на кого, подошел к своему месту у восточной стены. Он едва успел облачиться в пожелтевший от времени талес с серебряной каймой, как с улицы донеслось тарахтенье подъехавшей брички. Через окно было видно, как с нее соскочил Цале-Ноех. С выражением растерянности и смятения на лице он ворвался в синагогу и с порога крикнул:

— Хозяин!!!

И, не дождавшись, пока Тевеле высвободит голову из-под складок талеса, Цале-Ноех шепнул ему что-то на

¹ Кагальные — общинные.

² Ешиботник — слушатель высшей еврейской духовной школы.

³ Батлен — благочестивый бездельник, околачивающийся в синагоге.

ухо. Тевеле резко повернулся к нему и, не сняв молитвенного одеяния, ринулся к дверям.

Богослужение прервали, дабы дать Тевеле возможность помолиться потом, как он привык, с первым миньеном. Но тот так и не вернулся, и встревоженные прихожане стали нашептывать молитвы каждый про себя, не слушая пения кантора.

В тот же день евреи кучками стали собираться на базарной площади. Они толпились вокруг тех, кто обычно терся возле кагалных заправил, был вхож в правление кагала и считался осведомленным в делах общины. Всем хотелось знать, зачем городничий так экстренно вызвал к себе реб Тевеле прямо из синагоги...

— Говорят, как стоял в талесе...

— Евреи, дай бог соврать — это какая-то новая беда...

«Осведомленные» тоже ничего не знали и с озабоченным видом многозначительно отмалчивались. В одной такой кучке стояла женщина с огромной кошелкой — базарная торговка. Она оживленно рассказывала, что творилось вчера у Тевеле. Пришли к нему сапожник Иона, банщик Довид-Нахмен, портной Ерухем, она и еще кто-то хотели зайти к главе общины пожаловаться на несправедливости, которые творятся в городе, пожаловаться каждый на свою обиду, но Цале-Ноех, как цепной пес, стоял у двери и никого не впускал: «Хозяина нет дома. Они у пана Суздиловского...»

— Мы, разумеется, подняли крик, — рассказывала женщина. — «Как нет дома?! Впусти, выродок, холера тебе в бок!» Пытались с ним по-хорошему: «Реб Цале-Ноех, вы же богобоязненный еврей!» А сапожник Иона тем временем вставил ногу в приоткрытую дверь, так этот злодей Цале-Ноех как нажмет со всей силой по сапогу. Сапожник аж взвыл. «Будешь знать, как совать свой задрипанный сапог в дом главы общины!» Тут я набросилась на Цале-Ноеха: «Паралик тебя расшиби, —

кричала я, — искалечил человеку ногу, изверг!» А Иона чуть не плакал от боли: «Ох, реб Цале-Ноех, злой вы человек, очень злой. Откуда это у вас? Вы же, слава богу, не какой-нибудь мастеровой, портняжка! Ох, нога! Раздавил до самой кости. Домой хоть добирайся ползком...» А Довид-Нахмен, чтобы не сглазить, как вы знаете, силач, взял он Цале-Ноеха за шиворот и встряхнул пару раз, чуть душу у того не вытряхнул. Но тут из соседней комнаты показался сам реб Тевеле в талесе, со святой книгой в руках. «Что за шум?» А Цале-Ноех говорит: «Да вот тут прется всякое дурачье, скандалят». Тевеле сердито посмотрел на него и обругал: «Изверг! Евреи же! Не иноверцы!»

Тут я выложила ему все начистоту. Никогда, мол, не поверю, что реб Тевеле приказал закрыть баню за недоимки... «Не может того быть! — кричу. — Но, реб Тевеле, миква¹ все же запечатана, а как быть моей Сореле? Она же молодница, только что, можно сказать, из-под венца. Ей же до зарезу нужна миква. Ваша доченька, дай ей бог здоровья, найдет выход, за нее беспокоиться нечего, а моя Сореле? А другие? В нашем богоспасаемом городе, с позволения сказать, и приличной реки-то нет». Довид-Нахмен тоже сказал, что никогда такого не было — за недоимки баню закрыть. А Иона жаловался, что ему за недоимки поставили на постой двенадцать солдат.

— Ну, и что ответил вам реб Тевеле?

— Реб Тевеле был в талесе, и ему нельзя было говорить. Он только пожимал плечами и бормотал: «Ну, идите в кагал... Я простой еврей!.. Посессор Суздиловского, почтарь, не более. Не знаю, чего от меня хотят. Я в эти дела не вмешиваюсь...»

— Не вмешивается! Так вы ему и поверили! — язвительно заметил кто-то.

— А что? — не унималась женщина. — Реб Тевеле же

¹ Миква — водоем для ритуального омовения.

ясно сказал: он тут ни при чем. Это все Бурлес! Чуть что — у него виноват реб Тевеле...

— Евреи! — крикнул кто-то. — Тикайте! Вон будочник с алебардой!

Городничий похвалил Тевеле:

— Молодец! Это по-солдатски. Ценю. Сам солдат! — Он с иронической ухмылкой оглядел фигуру Тевеле в талесе. — Кнутики-цыцес... ремешки-чересседельнички... Молодец, Тевель!

Тевеле про себя поморщился от похвал городничего, но смиренно поклонился.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! Разрешите снять сии священные для нас предметы.

— Валяй, Тевель, валяй, хотя то, что сейчас услышишь, стоило бы тебе выслушать именно в этом облачении.

Едва Тевеле стал снимать талес, в комнату вошла рослая смазливая девка в цветастом красном сарафане. Тевеле тотчас узнал ее. Года два назад она работала у него на винокурне — картошку чистила, брагу таскала в ушатах. Она ловко справлялась с любой работой. Там он приметил ее среди других баб и девок, ладную, озорную. Потом она вдруг исчезла. Управляющий перевел ее куда-то.

«Так вот она где! — подумал Тевеле. Он знал, что городничий большой охотник до женского пола. — Сейчас, видать, старому псу приглянулась эта. Что ж, у него губа не дура!»

Городничий, с удовольствием побряхтывая, усаживал грузное свое тело в мягкое кресло. Девка взяла гребешок и щетку и ловкими движениями оголенных рук стала расчесывать его нафабренные усы и бакенбарды. Тевеле бросил на нее жадный взгляд и с досадой отвернулся. «Нехорошо. Греховные мысли. Нельзя так долго еврею оставаться вдовцом!..»

Городничий, причесанный и надушенный, надел мундир, шпагу, скрипнул начищенным ботфортом и торжественно изрек:

— Тевель, из губернии получено донесение, что его императорское величество царь Николай Павлович едут из Петербурга в Могилев. У тебя на почте будут менять лошадей. Посему приказываю: немедленно подобрать шестерку рысаков — огонь! Чтобы — нога! Чтобы — грива! Чтобы хвост трубой! Ежели сейчас в твоих конюшнях таковых нет, езжай на конный завод Суздилковского, куда хочешь, но добудь хоть из-под земли. Выставь также дозорного верхового у заставы. И гляди, Тевель! Это тебе не жидовский раввин! Это его величество!

Тевеле оторопело глядел на массивную, затянутую в синий мундир фигуру городничего, на которого, как ему казалось, в эту минуту уже падал, хотя и в малой степени, отблеск величия самого божьего помазанника.

«Рысаков... Надо же, в такое время, когда со всей округи едут в губернию, на ярмарку, и в конюшнях осталось несколько захудалых кляч...»

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, — ответил он, — все будет в наилучшем виде.

— Теперь о встрече его величества, — продолжал городничий. — Православные встретят императора с хоругвями и колокольным звоном. А ваши?

Охваченный благоговейным трепетом, Тевеле шагнул к городничему.

— Ваше высокоблагородие, с вашего милостивого разрешения, как и все верноподданные его величества, евреи выйдут преклонить колени перед монархом...

Городничий потрогал распушенные бакенбарды и строго посмотрел на Тевеле.

— Так вот, собери сейчас своих и скажи им, что когда государь император будет проезжать, чтобы они вынесли из синагоги все свитки, или как они там у вас называются, и стали с ними подальше, в сторонке, — не слишком

бросаться в глаза его величеству. Но гляди у меня, чтобы чин чином! Сам знаешь, его величество вас не особенно жалует... Да... Деньги. Деньги на встречу его величества мне неси. Сам распоряжусь. Понял?

— Понял, ваше высокоблагородие.

От городничего Тевеле поехал на почту, где по обыкновению с утра несколько часов занимался своими делами. Там он принимал тех, которым ссужал деньги. Одна из служанок принесла ему коврижку и рюмку водки, постоянной на целебных травах. В боковушке, служившей кабинетом, он на сей раз застал почти всех старост кагала, кроме ходатая реб Рефозла, уехавшего в губернский город. При появлении Тевеле все почтительно приподнялись, предвкушая выслушать потрясающие новости. Тевеле с озабоченным видом оглядел собравшихся — тут были все свои — и сообщил им то, что узнал от городничего.

— Будем надеяться, рабойсай, что это к добру. Царь Николай Павлович в настоящее время разъезжает по городам и весям своего государства, он желает поглядеть, каково живет его подданным. И, даст бог, он смируется и над нами, евреями. У меня на почте будут ему менять лошадей, и посему очень важно, чтобы голытьба ничего об этом не пронюхала. Никаких разговоров об этом. Никаких сборищ на улицах. Пусть за этим проследят кагальные служки.

Кто-то из старост глубокомысленно промолвил:

— Может быть, реб Тевеле, по такому случаю следует объявить всеобщий пост? Для всей общины?

Тевеле замахал на него руками:

— Упаси боже! Хотите погубить весь город? Какой-нибудь вольнодумец или голодранец мастеровой донесет об этом — и весь город пойдет на эшафот... Поститься, разумеется, никому не запрещено, но не от имени кагала.

И еще: городничий велел евреям тоже выйти встречать государя. Для этого потребовал деньги...

— Деньги? — вмешался с жаром другой староста. — Мало дерет он с живых и мертвых!

— Что поделаешь! — развел руками Тевеле. — Мы в изгнании. Придется брать из коробочного сбора¹. Нехорошо, конечно, надо будет надбавить копейку на кошерное мясо². Голытьба поднимет вой. Но что поделаешь? Из своего кармана не выложишь... Главное, рабойсай, чтобы все сошло благополучно для нашей общины...

Когда старосты, взволнованные предстоящим лицезрением царя, разошлись, Тевеле наскоро закончил утреннюю молитву, затем выпил свою обычную рюмку водки, закусил коврижкой и, машинально бормоча слова краткой послетрапезной молитвы, продолжил размышление о встрече. Как бы утереть нос городничему, перещеголять его! И вдруг его осенило: христианское население выйдет с иконами, крестами и колокольным звоном, а евреи, не рядом будь упомянуто, выйдут со свитками святой Торы, но, кроме того, пусть еще капелла Бурлеса сыграет перед его величеством марш, в общем то, что играют на военных парадах. Тупая башка городничего до этого не додумалась, улыбнулся Тевеле в бороду.

Он велел позвать Цале-Ноеха и, когда тот явился, сказал:

— Ступай к Бурлесу и скажи ему, этому шуту городховому, чтобы немедленно пришел ко мне по очень важному делу.

Цале-Ноех потоптался на месте у двери.

— К кому? К Бурлесу?

— Да, да, именно к нему.

¹ Коробка — дополнительный налог в царской России для евреев.

² Кошерное мясо — дозволенное к употреблению по еврейскому закону.

Цале-Ноеху вовсе не хотелось идти к богохульнику Рувну Бурлесу, который позволяет себе разговаривать непочтительно, грубо с самим реб Тевеле и ему все сходит с рук.

Тевеле поднял на эконома недоумевающие глаза:

— Ну, ты еще здесь? Сказано — немедленно!

Цале-Ноех подхватил длинные полы своего серого кафтана и, вытянув по-гусиному шею, понесся по улице. Обыватели с удивлением глядели вслед немолодому уже еврею, бежавшему с такой прытью, словно на пожар.

Цале-Ноех остановился возле хатенки Бурлеса, кулаками постучался в низенькое окошко и, не дождавшись, пока откроют, яростно толкнул дверь в темные сени. Когда он, запыхавшись, ворвался в комнату, из-за стола поднялся ему навстречу Бурлес — молодой человек, лет двадцати шести — двадцати семи, выше среднего роста, смуглый, красивый, с черными глазами и черной выющейся шевелюрой. На нем был канифасовый жилет и темные узкие панталоны. Воротник холщовой рубахи был растегнут. В крепких небольших зубах красная костяная трубка с длинным мундштуком. Во всей его статной фигуре чувствовались энергия и стремительность. Кроме Бурлеса в комнате находились еще двое парней. Бурлес был немало удивлен, неожиданно увидев в своем доме Цале-Ноеха.

— Вот так гость! — иронически произнес он. — Сам «правляюще» пожаловал к нам. Но ты не ошибся дверью, Цале-Ноех?

Цале-Ноех скептически оглядел убогую холостяцкую обстановку комнаты и затем самого Бурлеса.

«И это называется еврей! Самый настоящий отщепенец! Сидит без шапки, как какой-нибудь иноверец, усики закручены поросычьими хвостиками кверху, как у пана Попсуйки...»

— Нет, дверью не ошибся, — высокомерно ответил Цале-Ноех. — Глава общины реб Тевеле велели тебе не-

медленно явиться к нему на почту по очень важному делу.

В глазах у Бурлеса замелькали веселые огоньки.

— По очень важному делу, говоришь? Для кого важному? Для твоего хозяина?

Среди многочисленной прислуги богатого дома Тевеле Бурлес имел приятелей и поклонников, особенно поклонниц, прямо-таки замиравших, увидев его со скрипкой на какой-нибудь свадьбе. Полновластным хозяином над ними всеми был эконо́м Цале-Ноех — он нанимал, он выгонял неугодных. Прислуга часто жаловалась Бурлесу на его жестокое обращение:

— Зверь, а не человек! Мучитель! Житья от него нет!

Из-за них между Бурлесом и эконо́мом часто возникали стычки. Совсем недавно недреманное око Цале-Ноеха разглядело ночью за конюшнями молоденькую служанку Ехе́вед, на которую он, вдовец, сам имел виды. Закутанная в платок, она стояла с каким-то парнем, и тот гладил ей руку. Парню Цале-Ноех и конюхи намяли бока и прогнали вон, а про Ехе́вед он распустил слух, будто бы она распутная девка. Простоволосую, ее прогнали через весь город, под улюлюканье толпы, на кладбище, и там на доске, где совершают омовение покойников, благочестивые богомолки наказали ее розгами.

— Зачем ты опозорил Ехе́вед? — едва сдерживая гнев, спросил Бурлес у Цале-Ноеха.

— Она сама себя опозорила, — вызывающе ответил Цале-Ноех. — Благонравная еврейская девица, даже прислуга, не должна прятаться с чужим мужчиной по закуткам...

— А ты что, божий стряпчий?

— Отчет, что ли, тебе отдать, — огрызнулся Цале-Ноех, — в том, что мы с реб Тевеле делаем? Шут ты гороховый! Знай свою бандуру, как говорит хозяин, и не в свои дела не суйся! Еще раз говорю тебе, — повысил он голос,

чувствуя всю сладость власти, — приказано явиться к главе кагала — так бегом! Без рассуждений!

— Скажи, Цале-Ноех, своему почтенному хозяину, что у меня нет с ним никаких дел.

— А ты будто не знаешь, как кагал поступает с послушниками? Постоишь у куне¹ — спеси поубавится. Шелковый станешь. Видали таких. Добром говорят...

— Ты смотри, — воскликнул Бурлес, — разговорился, как валаамова ослица! А ну-ка, ребятки, сыграем этому прихвостню «Добридень»²...

Из-за стола поднялись оба парня — музыкант из капеллы Бурлеса и портной-подмастерье.

— А ну-ка, чтобы духу твоего здесь не было!

Цале-Ноех опасливо попятился к дверям: чего доброго, накостыляют в шею. От таких-то всего можно ожидать...

— Ну, погодите! — яростно двигая челюстями, прохрипел он. — Это вам так не пройдет! Шкуру с вас спустим!

И, подобрав полы кафтана, он понесся обратно на почту.

На столе у Бурлеса лежали нотная бумага и гусиное перо. Еще в раннем возрасте научился он играть по слуху на скрипке, которую получил в наследство от отца, потомственного клезмера³. Однажды его игру услышал Аполлинарий Иванович Рубцов, худенький старичок во фраке мышиного цвета, выписанный из Москвы Суздилевским в качестве дирижера оркестра, состоявшего из крепостных крестьян. Игра маленького местечкового самоучки понравилась ему, и он стал обучать его нотам. Заметив в нем и способность сочинять мелодии, сообщил

¹ Куне — позорный столб.

² «Добридень» — свадебная, величальная.

³ Клезмер — музыкант.

— Все же не падай духом, — пытался его утешить Бурлес. — Наши парни встретят твоего Лейбу где-нибудь в темном переулке.

— А что слышно с жалобой в губернское управление? — спросил клезмер. — Что-то не спешат с ответом. Ты же, Рувн, подробно изложил, как кагальные заправилы грабят народ, измываются над бедным людом...

Бурлес ничего не ответил. Он уже давно потерял надежду на то, что из губернии откликнутся на жалобу местечковых евреев. Кагальники держат там своего ходатая, и все до последнего писца «подмазаны», а тут Тевеле с городничим одна рука. Пустая была затея писать туда...

— Что с жалобой? — переспросил Бурлес. — Помнишь ведь, чем закончилась жалоба мужиков на Суздиловского? Ходоков гнали по этапу из губернии и вместе с жалобой передали в руки управляющего.

— Сравнил! — воскликнул клезмер. — То крепостные, а мы мешчане!

— Скажи пожалуйста, какие знатные персоны! Мешчане они! Евреи вы, притом бедняки!

— Мир, братцы, не переделаешь!

— Ничего! — Бурлес покачал головой. — В губернии наши слова не были услышаны — напишем в Петербург. Там сидят сановники поважней.

Бурлес полистал лежавшие перед ним ноты.

— Вот, Менаше, — обратился он к клезмеру, — фамajor нашего Михайла. Он напел, а я записал. Где он теперь, Михайло?

— Эх, Михайло, Михайло! — вздохнул клезмер. — Бедная твоя головушка!

— Что за Михайло? — рассеянно спросил подмастерье.

— Крепостной Суздиловского, — ответил Бурлес. — Бог дал ему золотые руки, но сделал рабом... Помню,

сидим мы однажды на исходе субботы, наигрываем фрей-лехс, чтобы людям не так трудно было перейти от праздника к повседневным горестям и бедам. Вдруг замечаю — кто-то украдкой заглядывает в окошко. Обычно это мальчишки из хедера. Вижу — стоит высокий парень в холщовых портках и лаптях. Я поманил его смычком. Он робко вошел, низко поклонился. «Что скажешь?» Он вынул из-под полы свитки самодельную скрипку и сказал, что хочет сыграть нам песню. «Сыграй!» Он провел смычком по струнам, и все мы почувствовали: перед нами самый настоящий самородок. Как он сыграл нам ту русскую песню! Это была очень печальная песня. В ней мужик-бедняк жаловался на свою горемычную долю. Песня проникала в самое сердце... С того дня он стал вхож ко мне, научился играть еврейские свадебные песни не хуже любого клезмера. Мы все полюбили его, как родного брата...

— Ну, и что же теперь с ним? Приказал долго жить, что ли?

— Да нет! Тевеле его погубил. Пожаловался немцу-управляющему, что Михайло Божков строптив, что на винокурне, хотя работает хорошо, ведет с мужиками крамольные разговоры про волю, поносит последними словами не только их обоих, то есть Тевеле и управляющего, но и самого ясновельможного пана Суздиловского. Михайло якобы говорил: нужно-де барину пустить красного петуха... Парня связали и увезли, забрили в солдаты. В последний раз мы видели его возле воинского присутствия перед отправкой. Мы передали ему несколько рублей и скрипку. Его самодельную холуи Суздиловского разбили вдребезги...

Дверь внезапно распахнулась, и, тяжело топая сапожищами, встались трое здоровенных мужчин. Один из них, огромный детина с яйцевидным черепом, маленькими глазками и жесткой, словно из медной проволоки, бородой, потирая руки и весело хихикая, сказал:

— Знай, брат Рувн, под венец у евреев ведут с шаферами, а к главе кагала тоже, но без музыки... И еще запомни: тот, кому Бер Лапицер поддаст пару, может не ходить в баню до самого Судного дня. Все грехи ему будут отпущены. Ачу! Взять молодчика!

По городу быстро разнеслась весть: кагальные служки увели Бурлеса...

В ожидании Рувна Бурлеса Тевеле машинально перелистывал лежавший перед ним на столе толстый пожелтевший и потрепанный реестр, заведенный еще его отцом Рефеозлом Раппопортом. Он, Тевеле, редко заглядывал в него. Все мелкие долги крестьян из окрестных деревень и городских обывателей туда заносил свояк Тевеле, богобоязненный еврей, но большой неудачник, кормившийся возле своего богатого родственника. От нечего делать Тевеле пробежал глазами несколько последних записей:

«...Получено от Гриске за бутылку яс¹ полушубок, а также красную сподницу его бабы, еще за одну бутылку — залог до седьмого элула²... от сотворения мира...»

«Отпущена одна мера овса пономарю Микитке Черному, а также полведра яс на свадьбу его девки. Сам пономарь Микита выпил стакан спирта и еще стакан простого яс. Выпил также его сын, бурсак, и за это получена от него лошадиная кожа, сыромятина, и медный крест залог до... от сотворения мира...»

Тевеле с досадой отшвырнул от себя реестр.

— Говорил же я этому батлену — пономарю не давать! Поди потом взыщи с пропойцы! Медный крест... Тыфу, недотепа!

Он поднялся и, сделав по комнате несколько шагов в своих мягких сапожках, вынул из кармана атласного

¹ Яс — водка.

² Элул — шестой месяц еврейского календаря.

кафтана серебряную табакерку и двумя пальцами набрал понюшку табаку для успокоения. «Ах ты владыка небесный! Боже милостивый! — сокрушенно вздыхал он. — Слыхано ли! Глава общины вызывает простого еврея, не богатого, не знатного, не сведущего в премудрости божьей, простого, невежественного клезмера, — и тот смеет послушаться... И посылай за ним служек, чтобы его силой привести... Светопреставление!»

С улицы ворвался многоголосый шум, грубая брань. Тевеле выглянул в окно и увидел огромную толпу. Служки вели Бурлеса, крепко держа его за руки. Раздавались злорадные выкрики:

— Ага, попался, голубчик! Свинину жрал, вероотступник!

— Какое там свинина! Безбожника застали с мужней женой!

— Смертный грех!

Женщины иступленно вторили:

— Вот из-за таких господь карает весь город! Невинные младенцы мрут, как мухи!

Слышались и другие голоса:

— Поклеп! Кровавый навет на Бурлеса!

— Черт побери батьку и прабатьку кагалных заправил, кровососов! Сейчас же отпустите Бурлеса! Знаем Бурлеса!

У ворот почтового подворья мелькнула треуголка будочника. Затем появился он сам, зычно крикнул:

— По какому случаю народ? Кто разрешил? Что за шабаш? Разойдись, пархатые!

Толпа хлынула обратно. В узенькой улочке образовалась давка. Бурлеса ввели в помещение почты, и Бер Лапицер весело доложил:

— Ну, вот он, ваш молодчик, реб Тевеле, своей собственной персоной...

Тевеле возмущенно замахал на него руками:

— Что такое? В чем дело? Служки! Кто велел вам

привести его? Загадай дурням богу молиться... Я же не велел, а только просил его прийти ко мне! Дело общественное, касается оно всей нашей общины. Помилуй бог! Что же, Рувн не захотел прийти ко мне, к главе кагала, я готов был сам пойти к нему ради общего блага. Ступайте! Ступайте, ослы! — напустился он на служек.

Служки ушли, втихомолку посмеиваясь.

Бурлес с ненавистью смотрел на еще довольно черную, с редкой проседью бороду Тевеле, на его тонкие, просвечивающиеся ноздри, острый, орлиный нос. «Не пронюхал ли по жалобу?» — подумал он.

Тевеле проделал несколько шагов по комнате.

— Ищу тебя, Рувн, сегодня с самого утра... — обратился он к Бурлесу.

— Зачем я вам вдруг так понадобился?

Тевеле миролюбиво протянул ему серебряную табакерку.

— Ну-ну, не ерепенься... Поверь мне, добрая понюшка табаку лучшее лечение от всех обид!... Нет? Не нюхаешь? Куришь? Нынешние молодые курят, как русские господа, — засмеялся он. — Ну, Рувн, что было, то прошло. Между евреями должны царить мир и согласие. Все евреи братья. — Он помолчал немного, внимательно оглядывая Бурлеса, все еще стоявшего у дверного косяка. — Скажи мне, дорогой, как ты думаешь жить дальше?

Бурлеса удивило такое начало разговора: «Что нужно от меня этой старой, прожженной лисе?»

— С каких пор, реб Тевеле, вас стала заботить моя судьба? — с иронией в голосе спросил он.

Тевеле сделал умиротворяющий жест ладонью.

— Без злобы, Рувн, без злобы. В конце концов, обо всем можно договориться. Ты уже, слава богу, в летах. Под тридцать, если не ошибаюсь? Евреи в таком возрасте уже почтенные отцы семейства. Где это видано, чтобы такой человек, как ты, якшался с холопами и, прости меня, господи, с холопками. И была бы от этого хоть ка-

кая-нибудь выгода... Послушай меня, Рувн, брось свое клезмерское ремесло, женись на приличной хозяйской дочери с хорошим приданым, открой лавку с красным товаром или большой шинок, а то и заезжий двор для господ. Достаточно для этого одного моего слова...

— Благодарю за советы. Еще вы забыли, реб Тевеле, посоветовать мне давать деньги беднякам в рост. Сами знаете, тоже неплохой гешефт!

Тевеле натянуто улыбнулся.

— Поверь, желаю тебе только добра. Еще не раз помянешь мои слова. Скажешь — Тевеле был прав. Но к делу — в любую минуту может понадобится твоя капелла.

— Что за спешка, реб Тевеле? Свадебка у вас?

— Нет. Нечто поважней. — И, оглянувшись по сторонам, Тевеле, понизив голос, сказал: — Это пока секрет, но тебе сообщу: не сегодня-завтра через наш город пройдет царь Николай Павлович. Вместе с христианским населением наши евреи, разумеется, не мастеровые, не голытьба, а почтенные лица общины, тоже выйдут встречать его величество. Мы — со священными свитками Торы, а они — не рядом будь упомянуто — с иконами и крестами. Но кагал хочет, чтобы твоя капелла в полном составе на встрече грянула бы в честь государя какой-нибудь красивый военный марш, какие играют на парадах. Городничий наш и все паны будут очень довольны. Евреи, что ведут дела с помещиками, извлекут из этого большую пользу и в свою очередь будут творить добрые дела — дадут щедрую милостыню своим неимущим братьям, а ты сам знаешь, как говорится в молитве: «Велика нужда твоего народа!» А для вас, клезмеров, это какая честь! По всей губернии разнесется слух о том, что капелла Бурлеса удостоилась играть перед самим царем... От богатых свадеб отбоя не будет. Короче: собери свою команду, наденьте субботние кафтаны — и прямо с инструментами сюда, на почту, выпивать и закусывать, пока

суд да дело. Кстати, подумай хорошенько, что именно нужно играть перед августейшей особой.

«Играть перед самим царем!» В первую минуту это показалось Бурлесу очень заманчивым. В нем шевельнулся артист: «Сыграем, знай наших!» Он уже готов был согласиться, но, посмотрев на горделивое, самодовольное лицо Тевеле, который уже как будто заранее торжествовал от этой своей затеи, он раздумал. Раз это выгодно реб Тевеле и тем евреям, что ведут дела с панами, то он, Бурлес, откажется от такой чести. Под любым предлогом.

— Напрасно ваши остолопы волокли меня сюда, — сказал Бурлес. — Кто мы такие, реб Тевеле, чтобы удостоиться играть перед его величеством? Мы простые свадебные клезмеры...

— А на игрищах у панов? У Суздиловского?

— То Суздиловский, а это сам царь! Что за сравнение!

Тевеле, поморгав ресницами, сбоку глянул на него:

— А если кагал прикажет?

— Кагал мне не указчик! — запальчиво ответил Бурлес. — Я вам не местечковый бедняк ремесленник! Я сыграв вам такую свадьбу...

Тевеле хрипло засмеялся.

— Но-но-но! Пока что еще указчик. Ты еще полностью мешумедом¹ не стал, тем более — не богатый купец, и можно на тебя найти управу. Как глава общины спрашиваю тебя: будешь играть?

— Нет, реб Тевеле, куда нам! Не станем мы своим жалким пиликаньем беспокоить его величество...

Издательский тон Бурлеса вывел Тевеле из себя.

— Тогда пойдешь в кандалах на каторгу! В Сибирь! Шкуру с тебя там спустят!

¹ Мешумед — выкрест.

— За что, реб Тевеле? За глубокое уважение и любовь к нашему обожаемому великому монарху?

— Ах ты нахальная рожа! — в бешенстве крикнул Тевеле. — Режешь без ножа весь город! Всех евреев!

— Вы их давно уже зарезали! — сказал Бурлес и вышел, хлопнув дверью.

Тевеле смотрел в окно вслед удалявшейся высокой фигуре Бурлеса. «Кабы не Суздиловский и другие, погибель на них...» — зло думал он. Недавно видели, как у здания дворянского клуба из кареты вылез коротконогий, тучный пан Суздиловский в своей черной крылатке, цилиндр набекрень, один ус молодцевато приподнят. Он был немного навеселе, и язык его путался в поисках слов, чтобы выразить свое восхищение игрой Бурлеса:

— Ну и дьявол же ты, каналья, сукин сын, Бурлес! Черт нагадал тебе родиться нехристом! Но ты хороший человек. Никто из своих не обижает тебя? А то скажи — я проучу!

«Вот то-то и оно — «проучу»! — сокрушался Тевеле. — Бурлес надеется на широкую спину своего покровителя... Но ничего, я его лучше знаю: сегодня он за тебя горой, а завтра ты для него нуль... Надо будет растолковать этой ясновельможной дубине, что за птица его любимчик, для которого нет ни судьи, ни закона, ни бога, ни царя, ни власти кагала... Если ему рассказать о том, что Бурлес толкует с его холопами про волю, посмотрим, как это пану понравится... Кагал может, конечно, запретить его капелле играть на еврейских свадьбах, лишит их заработка, но этим Бурлеса не устроишь: от бедняцких свадеб не разжиреешь, а его наперебой зовут к панам на их вечеринки и увеселения... Да, но это дело амбиции! Раз я, Тевеле Раппопорт, глава общины, повелел тебе играть, то будешь играть. Я сильнее тебя и... умней!»

— Цале-Ноех! — крикнул он.

Вбежал эконо́м, бия себя кулаком по голове́.

— Реб Тевеле, вы великий праведник! Нет меры вашему долготерпению! Я хотел войти и тут же разможжить безбожнику голову!

— У! У! Голову! — проворчал Тевеле. — Костолом! Слов нет, он грешник, но все-таки еврей. Кагал наставит его на путь истины, не таких обламывали... Поддай мне посох. Если меня будут спрашивать, скажешь, что ушел в правление кагала.

У правления кагала — деревянной избы с полукруглыми окнами — толпился народ — ремесленники, подпоясанные веревками, носильщики, исхудалые, с почерневшими лицами агуны¹, разъезжавшие с грудными младенцами в грязном тряпье по еврейским местечкам в поисках сбежавших мужей. Среди этой разношерстной толпы деловито сновали бородатые кагальные служки, наступая людям на ноги, расталкивая локтями, озирая всех отсутствующим взглядом.

Увидев реб Тевеле, толпа расступилась. Он вошел в коридор, пахнувший сыростью. У заложенной железным засовом двери «козы», где держали провинившихся, а также рекрутов, молодая женщина билась головой об стену и кричала: «Хаим-Мойше! На кого ты меня оставляешь с твоими детьми!» Другая женщина с целым выводком детей причитала: «Плачьте, плачьте, бедные мои голубки, мои бедные крошки! Пусть крик ваш дойдет до небес!» В «козе» находился гончар Нотл, которого Цале-Ноех недавно застал за конюшнями со служанкой Ехевед. Кагал давно метил отдать его в солдаты. Нотл лежал ничком на полу и тяжело всхлипывал. Смуглый, похожий на цыгана парень, задержанный в местечке без паспорта кагальными служками, которого собирались

¹ Агуны — покинутые жены.

тоже забрить, ожесточенно колотил в дверь подкованными сапогами.

— Разбойники! Кагальники! Погибель на вас! Пойду на виселицу, но вам несдобровать! Буду резать, жечь! Проклятый городишко ваш пойдет огнем! Нотла-коваля так запросто не возьмешь!

Женщины повалились Тевеле в ноги:

— Реб Тевеле! Будьте отцом родным! Пожалейте сирот!

Тевеле остановился и жалостливо посмотрел на женщин и детей.

— Бедные мои, — проговорил он, — что я могу сделать? Сами знаете, в рекруты берет не кагал, а начальство. Бог послал евреям тяжелое испытание, и это выпало на вашу долю...

Плач женщин стал еще громче, как при выносе покойника, но Тевеле уже исчез за дверью.

В просторной комнате за длинным некрашеным столом сидели старосты. Кагальный писарь Мейлех Кобыливер, безбородый упитанный человек средних лет, облизывая толстые, румяные губы, бесстрастным голосом читал вслух:

— «Его высокопревосходительству, действительному тайному советнику, кавалеру всех орденов, господину губернатору Величко Федору Андреевичу!

Мы, евреи, мещане города... припадаем к твоим стопам...»

Старосты слушали чтение, многозначительно покачивая головой. При появлении Тевеле пожилой благообразный староста в расстегнутом сером кафтане выхватил у писаря бумагу и бросился к главе общины.

— Вот вам, реб Тевеле, ябеда, которую голытьба нацарапала на кагал, да заткнется рот, изрекающий эту ложь!..

Кто-то воскликнул:

— Прямо чудо из чудес! Сам бог спас нас от такой беды, ну, и, конечно, ходатай реб Гавриэл с его умением разговаривать с начальством. Вы только послушайте, что подонки пишут: грабят, мол, простых людей, обируют до нитки, творят беззаконие, отдают в рекруты не по очередным книгам. Не прикажет ли этот умник, который все это состряпал, советоваться с ним да с портняжками и сапожниками?

Тевеле взял бумагу, подержал ее на ладони, осмотрел со всех сторон.

— Не сокрушайтесь, реб Исроэл, бог милостив, одной рукой он карает, другой исцеляет. До «самого» не дошло и не могло прийти — на то держим ходатая. — Он ухмыльнулся. — О доносе мне было известно. Это дело рук клезмера Бурлеса... — Он помолчал, как бы раздумывая, сказать ли еще что-то, и продолжал: — О доносе я узнал от клезмеришки, который сватается к одной из моих девок-служанок, иногда выпивает у меня шкалик-другой и кое-что любопытное сообщает... Но сейчас вот о чем. Да будет вам известно, что через наш город проедет царь Николай Павлович...

Старосты встрепенулись:

— Царь!

— Сам царь! Через наш город!

— Да. У меня на почте будут менять лошадей. Христианское население готовится к встрече его величества. Нам, евреям, тоже оказана честь — разрешено выйти со свитками. Я подумал: чем же еще наша община может выразить свои верноподданные чувства? И сам бог навел меня на мысль: Бурлес со своей капеллой сыграют в честь царя военный марш. Это, без сомнения, понравится начальству, и, бог даст, наша святая община получит высочайшую благодарность...

— Ай, реб Тевеле! — воскликнул кто-то. — Воистину вам бы в Сенате сидеть... Но какая честь выпадет этим прохвостам — играть перед самим государем!

— Погодите, рабойсай, — сурово проговорил Тевеле, — это еще не все. Рувн отказался играть...

Старосты вскочили с мест:

— Как — отказался?

— Отказался — и все. Он ненавидит нас и готов на все, только чтобы насолить кагалу, ввергнуть в беду.

Низенький, шупленький раввин в островерхой ермолке, изможденный денным и ночным корпением над Талмудом, иступленно крикнул:

— Еврей! Рвите на себе одежду!

Все разом заговорили:

— А вы, реб Тевеле, ему смолчали? Где были службы?

— Поставить мерзаца к позорному столбу!

— Публично наказать розгами в синагоге — и вон из города, выкорчевать с корнем заразу!

— Ослабили мы вожжи, реб Тевеле. Нужно запретить им играть на свадьбах. Пусть подышают с голоду!

— Анафема, черные свечи! ..

Тевеле недовольно поморщился:

— Анафема... Черные свечи... Этим его не запугаешь. За него горой стоит пан Суздиловский и другие паны.

Тевеле вовсе не хотелось вызвать неудовольствие Суздиловского, с которым он вел дела. Староста реб Екл, рыжеватый, в высоком картузе и белых чулках поверх штаны, стукнул ладонью по столу.

— Ша, рабойсай! — И, забрав в кулак окладистую черную бороду, прищурив глаза и раскачиваясь, как при чтении Талмуда, произнес: — Есть средство и для этой болячки. Вы говорите, что Бурлес у голодранцев в большом почете, что он у них вроде заступника, «опора падающим, оказывающий помощь беднякам, исцеляющий больных»... Хорошо. Отлично! Пусть голытьба, женщины и простолюдины, плачут у него под окнами, вопиют,

умоляют сжалиться над городом. Им, может быть, он не откажет...

— Хорошая мысль, — улыбнулся Тевеле в бороду.

Другим старостам тоже пришлось по душе совет реб Екла.

— Где Тора, там и мудрость!

— Ну, а вообще... — Тевеле многозначительно оглядел присутствующих, — это так оставить нельзя. С ведома раввина, с ведома и согласия кагала... С тех пор, как мы в изгнании... Доносчика...

Старосты поняли, что имеет в виду глава общины, о чем он не договорил.

На исходе субботы у Бурлеса собиралась капелла. Приходили также тайком от хозяев подмастерья и подручные. Места для всех не хватало на двух длинных скамьях возле стола, и собравшиеся усаживались прямо на земляном полу, усыпанном свежим, желтым «субботним» песочком. На столе, на цветастом старом платке, была насыпана горка подсушенной махорки. Подмастерья дружно дымили даровым табаком, время от времени прикладываясь к ходившей по кругу бутылке. Известные в городе силачи Нетл, Завл, которых втайне побаивались и сами хозяева их, в такие вечера потешали публику своей силичей — гнули подковы, железные прутья. Поговаривали, что внезапная кончина в бане ловчего Акивы дело их рук. Маршале¹ Муния Цунзер лихо отплясывал на столе, держа на ермолке стакан с водой, выкрикивая разные «пашквили» на богачей и кагальников, что вызывало шумное одобрение у собравшихся. Особенный успех имел рассказ маршалека о легендарном силаче Мойше Рейне, которого богатые купцы нанимали телохранителем, когда ездили на ярмарку через полавские леса, где

¹ Маршале^к — свадебный шут.

орудовали шайки разбойников и беглых солдат. Рассказывают, что у этого богатыря был уговор со своими клиентами: чур, во время драки с разбойниками не попадаться ему на глаза, иначе в порыве ярости он может, упаси боже, их тоже прикончить. Однажды поехали с ним на поплавскую ярмарку известные хлеботорговцы Шапиро. В Прокопьевском лесу на них напали. «Прячьтесь!» — крикнул им Мойше. Но богачам хотелось за свои деньги посмотреть, как силач расправится с бандитами. «Бей их, Мойше! — покрикивали они. — Бей, чтобы мокрого места от них не осталось!»

— Ну-ну? — торопили маршалека заинтересованные слушатели.

— Убил бедняг... хозяев, которые попали ему под горячую руку. А беглые солдаты удрали...

Слушатели весело хохотали.

Бурлес, обычно рассеянный, задумчивый, в такие вечера пел со всеми еврейские песни, рассказывал разные истории из того, что видел в барских хоромаш, о любовных шашнях паничей, о том, как плохо живется крепакам — не лучше, чем еврейской бедноте. Маршалеки, недавно вернувшийся из губернского города, рассказывал о свадьбе в доме старого богача Левианта, на которую был приглашен:

— Лес почтенных бород и атласных жупиц¹... Водка лилась рекой... Отдельный двор заняли одни шалаши для нищей братии...

— Ну, а музыканты? — спросил Бурлес. — Была личная капелла?

— Две капеллы. Два свадебных шута — аз недостойный и Ерухем-поэт. Ерухем говорил свои рифмы на свяшенном языке, а я — свое: «Невестушка, ты прекрасна, как жемчужина!.. Невестушка, плачь!» И прочее. Старый Левиант все время стучал по столу: «Где Бурлес?

¹ Жупица — кафтан.

Без него не свадьба, а похороны!» Гости мурлыкали твои напевы, а музыканты хотели провалиться сквозь землю...

— Почему же старый Левиант нас не пригласил на свадьбу?

— Сейчас узнаешь, — сказал маршалек. — На свадьбе присутствовал собственной персоной глава общины реб Тевеле и рассказал о тебе такое, что у всех волосы под ермолками поднялись дыбом.

— А что именно?

— Будто ты написал на кагал донос в губернское управление и подписи собирал у мастеровых и простолюдинов.

— Ага! — У Бурлеса задорно блеснули глаза. — Уже разнюхали? Отольются кошке мышины слезки...

Затем заговорили о кагальных заправилах, из-за которых житья нет простому человеку. И люди потом разбредались, в бессильной злобе проклиная все на свете.

Однажды ночью, после такого вечера, кто-то вышиб стекло у Тевеле. В доме начался переполох. Все повскакали с постелей. Эконом поднял на ноги всю прислугу. Прибежал будочник, но поймать никого не удалось. Утром каменный дом Тевеле стоял притихший, словно испуганный, и к нему со всех концов города стекались обыватели поглазеть на разбитое окно в доме главы общины. Нашлись и такие, которые собственными ушами слышали, как Тевеле горько посетовал: «И это за мои хлеб-соль!» Были и такие, которые слышали, будто Бурлес злорадно произнес: «Первый камень в окно живоглота!»

...В тот субботний вечер Рувн огласил перед собравшимися список лиц, кого кагал собирался отдать в солдаты.

— По очередным книгам, — сказал он, — на сей раз должны были идти сынки Бера Грайвера, Носена Шпалта, Менделя Элькина, Авраама Мойжеса. Но тот — богач, этот — знаток Талмуда, третий из восьми пацуков оказался одним-единственным сыночком у своих богатых

родителей, а четвертый и вовсе не числится у старосты в сказках (списках). Сдают в общем одних бедняков... Завтра, — продолжал он, — их угонят. Среди рекрутов жестянщик Фоля Козик, Мотл Флашбойм и еще какой-то беспаспортный, нездешний...

Молодой человек с закрученными спиралью пейсами и цветным платком на шее, тихий, незаметный, все время доселе молчавший, поинтересовался, откуда у Бурлеса этот список. Бурлес кратко ответил:

— Вопросы будешь задавать раввину...

Нужно было на рассвете уже браться за работу, и люди стали понемногу расходиться. Остались еще на некоторое время силачи Нетл и Завл, задержался также и клезмер — тот, который почти все время молчал.

— В Сибирь пойду, — яростно шипел Нетл, — но Тевеле укокошу! Пущу красного петуха на все его проклятое подворье...

— Слушай сюда, — сказал Завл, понизив голос, — можно так услужить кровопийцу, чтобы помнил всю жизнь. Я знаю, как пробраться в его конюшни.

— Ну и что? — не понял Нетл.

— На почте царю будут менять лошадей. Надо что-то сделать со сбруей. Облить дегтем. Порезать шлеи...

— Лучше рысакам хвосты оттяпать по самую репицу, — предложил Завл.

Клезмер едва заметно улыбнулся тонкими губами.

— Хорошо придумано, ребята. Не правда ли, Рувн? Станут запрягать в царскую карету, а у лошадей голые зады — срам! А от сбруи воняет дегтем...

— И реб Тевеле за это получит «благодарность» от начальства, — добавил Завл.

В сумеречной полумгле большой синагоги зловеще раздались два удара ладонью по столу. Тевеле стоял лицом к восточной стене, глаза были набожно закрыты. На

амвон тяжелыми шагами взошел престарелый раввин и плачущим голосом нараспев произнес:

— Братья, сыны Израиля! Заявляю и довожу до вашего сведения, что гнев божий излился на нашу общину и в один день мы можем все погибнуть. От губернатора получена бумага, что через наш город будет проезжать его величество царь, и он, губернатор, требует от нашего кагала, чтобы Бурлес и его капелла вышли встречать его с музыкой, как это всегда делали наши предки, встречая царственных особ. Но безбожник и вольнодумец Рувн, у которого нет страха божьего, но есть злоба и ненависть ко всей общине, отказался играть. О горе, горе! — возвысил раввин голос до плача. — Начнутся новые величайшие бедствия: еще один рекрутский набор в каждой семье, будут гнать сквозь строй, зашлют в Сибирь, на край света... Так, видно, предписано нам в Судный день, чтобы община наша была разрушена...

Присутствующие в ужасе закатывали глаза:

— Как? Против губернатора? Против кагала? Против реб Тевеле?

— Враки, поклеп! — слышались разъяренные голоса. — Рувн такое городу не сделает!

Тевеле повернулся лицом к толпе и, сурово чеканя каждое слово, произнес:

— Правду сказал вам раввин. Вся кара падет на ваши головы...

Слова раввина и реб Тевеле молниеносно разнеслись по городу.

В синагогу ворвалась толпа мужчин и женщин, опрокидывая на бегу скамьи и пюпитры.

— Реб Тевеле! Ребе! Старосты! — кричали они. — Что же вы молчите? Что думает кагал? Пожалейте наших маюток!

— Помочь может один лишь бог, — сказал раввин. — Ступайте к Бурлесу, умоляйте его, плачьте, дабы смиловился нечестивец над городом.

Послышался пронзительный крик женщины:

— Что же вы стоите?? Немедленно к разбойнику! Не отстанем от него, пока не выполнит волю кагала!

Толпа ринулась на улицу. Из лачуг выбегали испуганные обыватели и, узнав, в чем дело, тоже кричали:

— Изверг!

— Мерзавец! Выкрест!

— О горе! Чтобы Бурлес такое сделал!

В окно Бурлесу постучался сосед:

— Рувн! Весь город идет к тебе.

Бурлес без кафтана вышел на улицу. Едва заметив его, толпа загудела:

— Вот он! Держи его!

В одно мгновение Бурлес очутился в тесном кольце взбудораженных людей. Женщины протягивали ему маленьких детей.

— Хочешь погубить весь город?

— Почему отказываешься играть перед царем?

— Из-за тебя, говорят реб Тевеле и раввин, будет новый рекрутский набор!

— Что вы мелете, ослы! — крикнул в толпу Бурлес.

— Он еще огрызается! Скажи, будешь играть или нет? — кричали со всех сторон.

— Ладно, — сказал Бурлес, — буду играть.

— Будет играть! — радостно разнеслось по всей улице.

— Ткиес-каф! Ткиес-каф! ¹

Бурлес пожал чью-то мозолистую руку.

Толпа понемногу стала расходиться. Бурлес постоял еще немного на улице, возле своего дома. «Тевеле, погибь на него, заморочил головы этим темным людям! — думал он. — Погоди, я тебе сыграю!..»

¹ Ткиес-каф — подача руки в знак обязательства что-либо выполнить.

Два дня прошли в тревожном ожидании. Евреи снова стали собираться кучками на базаре, задерживаться после молитвы в молельнях. Высказывались мнения, что вся история с царем сплошной вымысел.

— Кагальникам нужен новый побор. Денег не хватает им. Вот и выдумали: царь едет...

Пожилой еврей в порыжелом, заплатанном кафтане и засаленном картузе, из-под которого торчал краешек не менее засаленной ермолки, лукаво ухмылялся в черную бороду.

— Ваш царь еще вчера промчался молнией, даже не оглянувшись на богоспасаемый городишко. Очень нужно ему останавливаться в каждом захолустном еврейском городишке. Встаю я к полночной молитве и вижу — мчатся огненные кони, летят искры из-под копыт. Я сразу смекнул: это он! Цари никогда не едут при свете дня, дабы не показываться перед простым людом, разве только в столице Пейтербарге...

Но однажды, когда Тевеле со своими домочадцами сидел за обеденным столом, галопом подъехал всадник, кнутовищем постучал в окно и что-то прокричал. Вошел Цале-Нох и взволнованным голосом крикнул:

— Хозяин! Едет!

Сердце у Тевеле чуть не оборвалось. Он поднялся, утер атласным рукавом смоченные в жирном соусе усы. Глянул на себя в большое зеркало, которое держал в доме для дочерей и невесток, но сам к нему никогда не подходил, и поспешил на почту. Домочадцы вышли вслед за ним, но шагали на почтительном расстоянии позади него. В городе потом рассказывали, что Тевеле будто с утра велел позвать лекаря Борух-Лейбуша, чтобы подстриг его и подровнял ему бороду, и хотя вчера была суббота, снова сменил белье. Выглядел он усталым, словно не спал всю ночь, и ни с кем не разговаривал. Никто, однако, не знал — это держали в секрете, — что произошло у Тевеле ночью. А произошло вот что.

В полночь к Тевеле во двор незаметно прошмыгнул кто-то в низко надвинутой на лоб шапке, отыскал в темноте окно кухни и тихонько постучал. В окне тускло зажегся огарок свечи и показалась взлохмаченная голова Цале-Ноеха.

— Чего надо?

— Тссс! К реб Тевеле.

— В полночь к реб Тевеле? Какие у тебя к нему дела?

Тот промолчал. Эконом впустил его в слабоосвещенную переднюю.

— Высоко, клезмеришка, забираешься, — проворчал он, — гляди, грохнешься!

Послышались старческое покашливание и кряхтение. Из соседней комнаты вышел Тевеле в ермолке и расстегнутом красном халате, поддерживая рукой сползающие исподники.

— Залменке? — удивился он. — В полночь? Ну, входи, входи. Цале-Ноех, будь добр, затвори за собой дверь с той стороны. Ступай спать. До утренней молитвы еще далеко.

«Что за дела у этого прохвоста с хозяином?» — мучительно размышлял Цале-Ноех. Он знал, что этот клезмеришка сватается к черноокой служанке Брайндл, а иногда незаметно заходит в покои к реб Тевеле. Но что бы в полночь!.. Тут что-то есть. Обязательно надо узнать!

Он приник ухом к двери, но ничего не услышал — там разговаривали шепотом. Это еще больше распалило любопытство эконома.

О чем они беседовали, так и осталось бы тайной, если бы не страшный вопль Тевеле:

— Караул! Люди!..

Первым влетел Цале-Ноех. За ним разбуженные полуодетые служанки, мужская обслуга:

— Что случилось, хозяин? Господь с вами!

Тевеле стоял бледный, растерянный.

— Люди! — чуть не плача, кричал он. — Меня хотят погубить, моих детей, всю общину. Где стражники? Берите топоры, дубины! Во двор! Все во двор! К конюшням! Подайте мне шубу! . . Ох ты, владыка мира! . .

Во дворе тревожно замелькали желтые пятна фонарей, загрохотали засовы дверей конюшен, вокруг них была расставлена усиленная охрана. Тевеле расхаживал по двору в своей хорьковой шубе — осенняя ночь была прохладна, — вглядываясь в лица людей, нет ли посторонних, вздрагивал от малейшего подозрительного шороха. Но ночь прошла спокойно. Утром Тевеле чувствовал себя скверно. Кололо в груди. Он пил чай с малиной, укутал горло теплым шерстяным платком, потом снова и снова расхаживал по двору в своей шубе, заглядывая во все закутки. Незадолго до рассвета какие-то двое пытались проникнуть во двор через потайной лаз — ясно, злоумышленники! Тевеле был оглушен криками кучеров, свистками.

В городе потом рассказывали, прибавляя все новые и новые подробности, как одного из злоумышленников поймали, но тот расшиб голову одному из кучеров, перемахнул через забор и был таков. И еще носились слухи, будто реб Тевеле известно, кто эти злоумышленники. . . Утром кучерам было вынесено по стакану водки и роздано по серебряной монете, о стоимости которой среди обывателей ходили разные толки. . .

Внезапно ударил большой монастырский колокол, и тяжелый звон поплыл над полями к городу. У церковной паперти дородный, с круглой бритой головой регент, по приказу благочинного, выстраивал хор к молебну. Со всей округи уже съехались помещичьи и купеческие кареты. Из конюшни конюхи вывели шестерку вороных рысаков из конного завода Суздиловского. Атласная кожа их отливала иссиня-черным блеском, гривы были под-

стрижены и расчесаны. Кучер, рослый детина в плисовом армяке и шляпе с пером, еле их сдерживал. За каланчой раздавались раскатистые, зычные голоса:

— Делай раз!

— Поворот направо! Ать ва-а-а-а!

От заставы до самой почты шпалерами были расставлены солдаты. Стражники разгоняли скопившуюся возле церкви толпу горожан:

— Геть!

У почты остались лишь помещики в дворянских мундирах, священники в полном облачении и именитые купцы. В некотором отдалении от них жались друг к другу старосты общины, равнин и несколько местечковых богачей со свитками Торы на руках. Капеллы все еще не было. Тевеле в ярости чуть не сломал палку о землю.

— Ступай, Цале-Ноех, — процедил он сквозь зубы, — скажи им, губителям, чтобы поторопились. Это им не на бедняцкую свадьбу, хвороба им в бок. Этак они могут прийти к шапочному разбору...

Однако служек не решался посылать за ними.

Но вот наконец показалась капелла в полном составе. Впереди Бурлес в черном субботнем кафтане, походкой и всей осанкой выделявшийся среди прочих музыкантов. Тевеле неприязненно поморщился, увидев его дерзко закрученные кверху кончики усов, но сдержал себя и даже подбадривающе улыбнулся ему.

— Ну, Бурлес, да будет нынче твоя скрипка подобна скрипке царя Давида...

Над большаком взвилось густое облако пыли. Показался всадник в синем мундире с красными кантами. Он резко, на скаку, осадил лошадь. Взор его упал на евреев, стоявших в стороне с какими-то странными предметами в руках.

— Что за сброд? — крикнул он. — Где смотритель? Обнажив голову, Тевеле низко поклонился ему.

— Лошади готовы, ваше...

— Сразу менять! Не задерживать ни секунды!

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

Офицер глянул на кучку музыкантов:

— А эти?

Тевеле еще раз низко поклонился.

— Наши музыканты. Позвольте встретить его величество музыкой.

— Знаете ли, перед кем хотите играть? — строго обратился он к капелле.

Бурлес выступил вперед:

— Знаем, ваше высокоблагородие...

Офицер внимательно посмотрел на него, но не сказал ни «да» ни «нет».

И тут произошло такое, что ввергло в трепет старост, а Тевеле на миг потерял дар речи.

Бурлес вынул из бокового кармана какую-то бумагу и подал ее офицеру.

— Ваше высокоблагородие, благоволите передать нашу нижайшую жалобу в руки милостивого царя. Один он может помочь нам в нашей горестной доле...

— На кого жалоба?

— Там, ваше высокоблагородие, написано.

Офицер взял бумагу и небрежно сунул ее в обшлаг рукава.

Показались драгуны. За ними — карета с золотыми орлами на черном лаковом фоне. За каретой тоже гарцевали драгуны. Как только карета остановилась у ворот почты, капелла грянула «Многая лета». Белая шелковая занавеска на окошке кареты приподнялась, и на какой-то миг выглянуло бледно-желтое круглое лицо с холодным, суровым взглядом и закрученными кверху жесткими усами, выглянуло и тотчас же скрылось. Тем временем конюхи сменили лошадей. Офицер крикнул:

— Гони!

Тевеле, как бы очнувшись от оцепенения, с юношеской прытью бросился к кучеру, изо всей силы оттолкнул его

и, кряхтя, тяжело взобрался на козлы. Дрожащими руками натянул вожжи. Рысаки, нетерпеливо рывшие землю копытами, сразу взяли в карьер и вскоре исчезли из виду, оставив за собой высокое облако пыли. Кареты стали разъезжаться. Старосты и раввин, как перепуганное стадо, уныло побрели со свитками в синагогу. Они еще не пришли в себя от страха и кипели злобой на Тевеле:

— Слишком большой ум тоже недостаток...

— Кому нужна была эта проклятая музыка! На версту нельзя было подпустить этого смутьяна, да сотрутся его имя и память! На нашу беду, он умеет читать и писать по-ихнему не хуже губернского ходатая Реб Рефоэла...

— Донос самому царю... Что будем делать? Прежде всего надо объявить всеобщий пост...

Вскоре из почтового подворья показалась парадная карета Тевеле с опущенным кожаным верхом. Кучер отправился на соседнюю станцию за хозяином. Вечером в городе видели, как со стороны Покровского шляха медленно передвигалась эта же карета. На ней важно восседал Тевеле, углубившись в свои мысли. Кучер хотел было запрячь в карету шестерку рысаков цугом и с гиком промчаться по городу на глазах у обывателей, но Тевеле не велел. В доме главы общины уже толпилась местная знать, встревоженно дожидаясь хозяина. Он вошел тихо, незаметно и молча стал пожимать всем руки, подчеркивая этим важность момента.

Вместе со старостами и раввином он вышел в соседнюю комнату.

— Поди знай! — развел Тевеле руками. — Поди знай, на что способен этот подонок. Подавать донос на кагал самому царю... Но... — он торжествующе вынул из бокового кармана смятую бумагу. — Милосердие господне безгранично. На наше счастье, царская карета по какой-то причине задержалась на некоторое время на станции. Я подошел к офицеру и сказал: «Ваше высокоблагоро-

дие, мы раздумали жаловаться его величеству, ибо грех беспокоить его нашими мелкими неурядицами. Надеемся найти защиту и справедливость у его превосходительства господина губернатора». И сунул ему сотенный билет. Тот без лишних слов вернул донос. Вот он. — Тевеле держал листок за кончик, как нечто нечистое. — Бог и впредь не оставит нас, а все наши супостаты будут повержены в прах...

Старосты громко выражали свое ликование:

— Святые праведники на том свете нас отстояли. Долгих лет жизни вам, реб Тевеле. На вас держится вся община...

— Ну, а ради такого случая не грех и повеселиться, — сказал Тевеле, пряча бумагу.

Дверь распахнулась, и Тевеле со старостами вышел к собравшимся, задорно напевая и хлопая в ладоши:

— Ай, ябабабм! Ябабабм! Ябабабм! Мазлтов¹, евреи! Цале-Ноех! Вели зажечь побольше свечей! Накрыть столы! Выпьем, евреи, лехаим!² Бог даст нам утешение и избавление...

Несколько дней на базаре и в молельнях люди вели разговоры об этом чрезвычайном событии. Нашлись такие, которые собственными глазами видели карету из чистого золота. Царь будто вышел к народу. Все повалились ему в ноги и закричали: «Ура, ваше величество!» Затем царь обратился к Тевеле, стоявшему с другими вельможами: «Тевель, ты уважаемый еврей. Я знал еще твоего батюшку Рефоэля Раппопорта, тоже был почтенный, богобоязненный человек. Скажи мне, каково живет еврей в твоей общине? Имеют ли они пропитание? Проси, что хочешь...» И Тевеле будто бы просил у его величества упразднить «коробку» и рекрутчину...

¹ Мазлтов — поздравляем.

² Лехаим — за здравие.

Ходили, правда, и другие слухи: будто царь, услышав игру Бурлеса, сказал ему: «Молодец!» — и пожаловал капелле четвертной билет, а Бурлес вручил самому царю в руки жалобу на кагальных заправил...

Людам очень хотелось верить, что скоро царская длань покарает всех местных кровососов.

В ознаменование такого события Суздиловский вечером того же дня дал большой бал. Была устроена иллюминация, фейерверки. В большом зале барского дома гремела музыка. Вместе с крепостным оркестром играл и Бурлес. Суздиловский показывал гостям молоденьких танцовщиц. Среди них особенно выделялась грацией и изящной легкостью тоненькая, миловидная девушка в сверкающей диадеме и бледно-голубом одеянии феи. Это была Тоня, дочь флейтиста Вакулы Чуба, приятеля Бурлеса. Бал затянулся далеко за полночь. Уже пропели первые петухи. Гости стали разъезжаться. Лакеи погасили огни в залах. Дворецкий отпустил музыкантов. Бурлес вложил скрипку в футляр, приподнял воротник кафтана и, слегка сутулясь от пронизывающего осеннего ветра, пешком отправился в город.

Дорога, которою он шел, огибала старое еврейское кладбище с множеством полукруглых могильных камней в гуще бурьяна. Он раздумывал о судьбе Тони, вспоминая, как гости Суздиловского шумно ей аплодировали. Он знал, что пан Папсуйко, любитель балета, уже приценивался к ней, хотел купить, но молоденькая смазливая танцовщица приглянулась самому барину. «Лет этак через пять, — сказал он, — может, и продам...» «Погубят ее господа! Всюду — несправедливость. Гнет. Тут Суздиловский со своим немцем, там Тевеле с кагальными заправками — всюду одна рука. Единственная надежда на жалобу, которую подал царю. А что, если и там... Эх, может быть, бросить все и податься в большой мир, где другая жизнь, другие люди?» Он вспомнил, как однажды

пан Папсуйко подошел к нему, когда кончили играть мазурку:

— Еврей?

— Да, еврей.

— А где твои пейсы? Лапсердак? ¹ — добродушно улыбаясь, спросил он.

Бурлес промолчал, глядя ему прямо в глаза.

— Послушай, любезный, — перестав улыбаться, сказал Папсуйко, — у тебя настоящий талант. От бога. Я в этом деле немного смыслю. Погубишь ты его в этой глуши. Хочу забрать тебя с собой в столицу. Бросишь своих, наш будешь...

«Наш будешь»! Бурлес понимал, что означают эти слова. Разумеется, жить в Петербурге, среди настоящих музыкантов, заманчиво, но ради этого он выкрестом не станет, хотя набожные ханжи в городе называют его «мешумедом»...

Начало уже сереть, когда он подошел к озеру с рощицей, за которой начиналась христианская окраина. Хотелось скорей добраться домой и лечь спать после бессонной ночи.

Вдруг он услышал за собой чье-то тяжелое дыхание, и тут же на голову ему обрушился страшный удар. Бурлес повалился на землю, подмяв тяжестью тела треснувшую скрипку. Трое с мешками на головах нагнулись над ним, повернули его залитое кровью лицо.

— Он! — прохрипел один из них. — Еще раз!

— Он должен быть при деньгах. Идет от пана.

В кармане у Бурлеса оказалось несколько смятых асигнаций.

— Не густо.

Его впихнули в большой мешок, наложили камней, перевязали сверху веревкой и потащили к озеру. Послышался тяжелый всплеск.

¹ Лапсердак — сюртук.

Один из убийц — это был Цале-Ноех, — опасливо озираясь, снял мешок с головы, утер рукой холодный пот со лба.

— Ни души.

— Слава богу, чистая работа.

— Да зачтется нам перед богом это доброе дело...

В предрассветной мгле над стальной поверхностью воды еще долго расходились огромные круги, но они становились все меньше и меньше, пока совсем не исчезли...

СОДЕРЖАНИЕ

Новый город. Перевод Л. Ген	5
Земляки. Перевод автора	37
Такое поколение. Перевод Л. Ген	48
Гостья. Перевод автора	66
Марик. Перевод автора	78
У кедра. Перевод автора	84
Мои леса. Перевод Л. Ген	94
Летучая мышь. Перевод автора	109
Много лет спустя. Перевод Л. Ген	122
Письмо. Перевод автора	130
Непонятные слова. Перевод Л. Ген	143
За забором. Перевод Л. Ген	150
Миля Перевод Л. Ген	157
Рувн Бурлес. Перевод автора и Л. Ген	199

Григорий Борисович
Рабинков

ЗЕМЛЯКИ

М., «Советский писатель», 1977, 240 стр. План выпуска 1977 г. № 244.
Художник В. И. Левинсон. Редактор Э. О. Амитов. Худож. редактор
Е. Ф. Капустин. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректор
Л. Г. Соловьева

ИБ № 677

Сдано в набор 25/II 1977 г. Подписано к печати 12/VIII 1977 г. А 09538. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 7¹/₂. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 10,68. Тираж 30 000 экз. Заказ 349. Цена 85 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.